



РАФАЭЛЬ
КАНОССА

БОГИ И
ДЕМОНЫ
СЕМЬИ
ЭРЕНБУРГ

Рафаэль Каносса

Боги и демоны семьи Эренбург

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73152303

SelfPub; 2026

Аннотация

Название “Кашгарка” знакомо лишь посвященным в тайны древнего Ташкента – но именно там начинается история еврейской семьи Эренбург. Вихри судьбы переносят их в Сургут, где минус сорок. Мазут вместо хумуса. Потом перебрасывают через Средиземное море в Иерусалим – плюс сорок в тени. Камни плачут соленым потом. Нога спотыкается о камень, о который спотыкались еще римские сандалии Понтия Пилата. Третье поколение этой семьи неожиданно оказывается в Италии, в Тоскане – на земле, воспетой Леонардо да Винчи. Но нет им и там покоя – яблоком раздора служат раскопки древней синагоги, стены которой хранят в себе рассказ о мужестве и обмане, благородстве и предательстве предвоенной эпохи. Ковш экскаватора, как скальпель, вскрывает прошлое, которое не хочет на свет. Внучка, Элина, с лицом боттичеллиевской мадонны и душой рыцаря, ныряет в море истории, чтобы найти правду.

Семья трещит по швам, как старый фарфор. А стены шепчут на языке, которого нет. На языке Кашгарки. Он вкусный и прилипает к губам.

Содержание

Часть 1. Там, где цветет полынь	4
Часть 2. Израиль: сила сдвинутых валунов	56
Часть 3. Внуки Моисея и Эстер Эренбург – зигзаги судьбы	69
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Рафаэль Каносса

Боги и демоны семьи Эренбург

Часть 1. Там, где цветет полынь

Глава 1. Корни кориандра в полынной земле

Моисей Эренбург появился на свет в Ташкенте, в районе со странным, точно затянутым пылью веков названием – Кашгарка. Удивительно, но никто не знал, откуда оно взялось, это странное название. От Кашмира – загадочного края раджей и сикхов, который находился в Индии? Но до него было очень далеко, больше двух тысяч километров, к тому же – путь пролегал через Гималайские хребты, почти стратосферу... так высоко никто не смог бы забраться. Или, быть может, от афганского Кандагара? Об этом тоже поговаривали старики в чайхане – солидные, спокойные, умудренные жизнью, восседавшие в своих стеганых ватных халатах за расписанными пиалами с зеленым и черным чаем. Но это была лишь версия. Версия пригодная, рабочая – но никем не подтвержденная. Как и все остальные версии.

Так и осталась Кашгарка до самого конца непрояснен-

ной, таинственной – как туманность Андромеды или далекая звезда Альфа Центавра. С земли не увидеть, не ощутить, не потрогать. Тайна, какая она есть!

Но эта Кашгарка и не была его настоящая родина, хоть он и появился здесь на свет – а лишь временная остановка в долгом еврейском пути. Его родителей, Соломона Эренбурга и Софью Яковлевну, война, как щепки, выбросила сюда из горящего белорусского Гомеля в далеком и жутком сорок первом. Они притазились в теплушке, где от запаха сотен человеческих тел, страха и нестиранных бинтов кружилась голова, и остались навсегда.

Возвращаться было некуда: дом сожгли, родственников убили, а на пепелище уже росла чужая, горькая полынь. Узбекистан принял их без восторга, но и без особой вражды – здесь у всех была своя боль, своя потеря.

Сначала было очень тяжело, потом стало еще тяжелее – так, что казалось, все, уже не выдержать – а потом все вдруг втянулись и привыкли. Да и то слово, война уже быстро шла к концу, с каждым месяцем – все быстрее, советские войска прошли пол-Европы и воевали уже на подступах к столице Германии, гордому Берлину – так что с продуктами стало чуть полегче. Аа это «чуть-чуть» и означало самое главное – жизнь. Тонкая грань между голодной смертью и жизнью расширилась, стала похожа на извилистую тропинку в горах, которую все же можно преодолеть, если глядеть себе под ноги и идти вперед, не спотыкаясь на кочках и не уставая – ну

и ладно. Они и шли по ней...

Их Кашгарка – это был мир, сотканный из противоречий. Запах жареной баранины и пыли с бескрайних хлопковых полей. Крики муэдзина и тихий плач женщины за глиняной стеной. Горький полынный аромат, который пронизывал все, когда полынь зацветала и ее пыльца реяла в воздухе, словно лунная пыль – которая из-за низкой гравитации постоянно висит над поверхностью Селены, не падая вниз, на изрытые древними метеоритными кратерами равнины. И вечные драки во дворах, где выживал тот, кто крепче стоял на ногах и быстрее соображал. Маленький Моисей, щуплый и светлоглазый, непохожий на коренных жителей с их тёмными, как чёрная слива, узкими глазами, быстро усвоил закон улицы. Он научился драться не из злости, а из необходимости – отбиваться от хулиганов, деливших мир на «своих» и «чужих». Кулаки его были невелики, но удар – точен.

Однако внутри, за этой вынужденной броней, жила другая тяга – ненасытная, острая, как голод. Тяга к знаниям. От матери, бывшей учительницы, он унаследовал любовь к точности слова, от отца-бухгалтера – к магии цифр. Он глотал книги, как другие глотают плов, и видел в формулах и датах не сухие символы, а ключи к пониманию огромного, сложного мира, который так недружелюбно обходился с его семьёй.

Поступить в Текстильный институт в Ташкенте было для него не просто шагом в будущее, а прыжком через пропасть. Он вышел из пыльной Кашгарки в мир чистых линий

чертежей, строгой логики механизмов и... странной, почти официальной интернациональности студенческого братства. Здесь ценили ум, а не происхождение.

Пять лет в институте тянулись долго, словно обоз, а пролетели – незаметно, когда пришло время получать диплом и расписываться за него в ректорате.

Моисей Эренбург сжимал заветную небольшую книжку в массивном тисненном синем коленкоре, не веря своим глазам. Свершилось. Пять долгих лет, зубрежка профильных предметов, и изучение невыносимых и непроизносимых – политической экономии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии... обязательные регулярные поездки в подшефный совхоз «Победа коммунизма» и сбор хлопка с обязательным отчетом через неумолимые весы – не наберешь нужного веса, не получишь ни зачета, ни допуска к экзамену... все это пролетело наконец, и осталось в прошлом. А он стал инженером.

Инженер – это звучало очень гордо. И по-еврейски. Евреи очень часто становились инженерами. Их природный ум, странная, не по годам, усидчивость, умение запоминать бесконечные цифры и ловко жонглировать ими в лабиринтах собственного мозга, а потом выбрасывать наружу в виде готовых конструкций и проектов и были основой и корнем инженерной профессии. Имена еврейских инженеров красовались на корешках учебников, которые ему приходилось зубрить и штудировать прилежнее, чем Библию средневековым

монахам и теологам – «Сопромат» Раппопорта, «Конструкция линейных переходов» Гурфинкеля, «Основы теории механической динамики» сразу двух – Каца и Шаца.

Но для Моисея Эренбурга все это было впервые – у него самого в роду не было инженеров. Или он просто не знал о них, о всех своих славных предках... Так или иначе, лично он ощущал, что идет по этому пути первым. Было и страшно, и сладко одновременно.

А еще более удивительным было то, что получение инженерной специальности означало расставание с Кашгаркой, с Ташкентом, с Узбекистаном. Грозное и волшебное слово «распределение» означало переезд, перелет в новые, незнакомые края. Отказаться от распределения было невозможно – советское государство брало на учебу неоперившихся, желторотых птенцов, а когда они вырастали, распределяло их по гнездованиям и далеким краям, куда это требовалось в соответствии с хитроумными планами, рожавшимися в таинственных недрах Госплана. Это были правила игры, которые касались всех.

И когда пришло распределение – Иваново, город ткачей, – он принял его как должное. Новый этап. Новая точка на карте его личного исхода.

И все-таки в последние дни перед отъездом он, словно очарованный, бродил по улицам Кашгарки, испытывая странное, щемящее чувство – и полной грудью вдыхая здешний воздух и запахи. Словно стараясь навсегда впитать их,

втянуть не только носом, но и словно втереть глубоко под собственную кожу – чтобы никогда не забыть, что бы ни случилось на его жизненном пути.

Моисей бродил по знакомым до боли с раннего детства улицам Кашгарки – снова и снова поражаясь их благородному очарованию бедности и шарма простоты и обшарпанности, вдыхал запахи урюка и абрикосов, которые зрели на ветвях, склонявшихся под их тяжестью почти до самой земли, а из дворов Кашгарки тянуло дымком от тандыров и шашлычных, от терпкого черного чая, который заваривался в глубоких фаянсовых пиалах, создавая неповторимый восточный колорит. Все это смешивалось с запахами свежестиранного белья, развешанного для просушки прямо во дворах, со свежим запахом миндаля и грецких орехов, которые поспевали на деревьях тут же, рядом с бельем – и от этого слегка кружилась голова.

Потом Моисей садился на троллейбус и ехал в центр – благо, его студенческий льготный проездной все еще действовал отведенные ему последние дни и часы. Троллейбус тащился мимо Старого города, с его глинобитными домами, которые никак не складывались в геометрически правильные, привычные глазу махалли – городские кварталы. Здесь каждый домик стоял словно особняком, даже если и лепился к почти такому же соседскому, и все дома были похожи на уличных собак, временно сбившихся в стаю ради доброй охоты или поживы, но сохранявших и независимость,

и особенность, и свой собственный клочок территории. Над домиками возносилась в пронзительно-синее небо древняя мечеть Тилля-Шейх, рядом громоздилось медресе Кукельдаш, отражая солнечный свет своими небесно-голубыми изразцовыми куполами.

За Старым городом располагался почти священный в глазах многих узбеков Хазрати Имам – место расположения древних медресе и мечетей, центр религиозной жизни. Несмотря на все гонения и преследования, аресты и ссылки мулл, вера в сердцах людей не умерла – а у кого-то и вовсе сделалась еще сильнее. Несмотря на свою загруженность комсомольскими поручениями и общественной жизнью, многие пытливые юноши обращались к религии, изучали священные книги, постигали истоки веры своих предков.

Но базар Чор-су, к которому потом сворачивал троллейбус, олицетворял уже другой мир, другую сторону жизни Ташкента: это был настоящий рай для гурманов, над ним плыли дурмящие ароматы спелых дынь и сочащихся рубиновым соком гранатов, запахи самсы и лагманов, которые готовили тут же – как и плов, который на Чор-су был самым лучшим в городе. Рынок появился на этом месте более двух тысяч лет назад, это был целый огромный торговый город, который пережил все пертурбации, слом эпох, все мыслимые и немыслимые перемены, в которых жизни обычных людей трепетали, словно сухие листья на ветру – и сохранил свою суть, свою древнюю восточную душу и сладостные ароматы

роскошного изобилия еды и вечного праздника. Моисей не раз вырывался сюда после напряженных занятий, чтобы отведать лагман и плов, разумеется, салат ачичук, и это было вкуснее, чем в знаменитом Доме плова на улице Катта Дархон.

Словно для того, чтобы успокоить его разбежавшиеся, разгоряченные мысли, возник огромный зеленый оазис, полный тишины и умиротворения – Парк культуры и отдыха имени Алишера Навои. Вонзались в небо пирамидальные тополя, похожие на удивительные живые ракеты, которые должны были в назначенный день и час оторваться от земли и начать бороздить небесные своды, тихо журчали сотни фонтанов, и нежный переливчатый говор их серебристых струй навевал покой и забвение. Раскидистые клены и ясени задумчиво отражались в воде озера Мантилак – искусственного, рукотворного, невиданного в этом пустынном регионе, а цветущие розы и лаванда струили свой тонкий неподдельный аромат, заставляя думать, будто ты не в городе, а в волшебном оазисе, который пришел прямо из древних узбекских сказаний.

Но и парк Алишера Навои заканчивался, не успевал за ритмичным бегом троллейбуса, и перед глазами Моисея Эренбурга вставала громада величественных правительственных зданий на Площади Ленина. И хотя само название «Ташкент» означало «Каменный город», и он всегда славился обилием больших каменных зданий, изысканных мечетей

и минаретов, прежние эпохи не знали такого великолепия, такой мощи и величества его домов, какое появилось на площади Ленина в советскую эпоху. Это был тот самый «сталинский ампир», лучшие образцы которого, придуманные Иваном Жолтовским и Алексеем Щусевым, восходили к их итальянским предтечам, на которые молились эти советские архитекторы – фантастическим по красоте и размаху творениям Палладио, Бернини и Борромини. Над площадью доминировал Совет министров Узбекистана, воплощавший мощь и волю партии и безграничную силу народа.

А неподалеку словно парил в воздухе Большой театр имени Алишера Навои – еще одно творение Щусева, возведенное при участии сотен японских военнопленных, которые тяжким трудом под палящим солнцем Узбекистана искупали свою вину, заглаживали свое вероломство, покупали себе индульгенцию от грехов на будущее.

Троллейбус, рыча стальными внутренностями, повернул вправо, и перед очами Моисея вознеслась белоснежная громада Текстильного института – его кремль, его цитадель, его родная звезда, пять долгих лет пылавшая на небосклоне его судьбы. Он сошел на остановке, и асфальт под ногами был тверд, как отлитая в форму сталь его воли. Медленно, с достоинством воина, возвращающегося на поле былой славы, приближался он к зданию. Портал института зиял, как жерло плавильной печи, что навсегда переплавил юношу-мечтателя в инженера. Сколько пота и слез было пролито здесь

за эти пять лет, пока он корпел над учебниками, вгрызался, словно зверь, в точные науки, извлекая из книг и учебников крупинцы чистого, драгоценного знания – алмазы истины, что потом лягут в основу станков, тканей, мощи новых заводов и фабрик.

Стены эти помнили всё. Помнили слезы его ярости и триумфа, соленые, как морская пыль над штормовым Аралом, когда формулы, подобно взбунтовавшимся моторным валам, наконец вставали в стройное, гудящее созвучие в его мозгу. Помнили вручение долгожданного диплома, прощание с институтом, нетерпеливое ожидание будущего.

Распределение оказалось неожиданным и одновременно ожидаемым – Иваново, текстильная столица России. Это было невероятно далеко от Ташкента, от Кашгарки, где пыльные улицы пахли дыней и горячим кирпичом, где в сумерках гудел арык, и где каждое окно было знакомо. И в то же время – хорошо знакомо. За годы учебы Моисей изучил названия ведущих ткацких предприятий Иваново, назубок вызубрил их мощь, объемы производства, технические особенности, пока эти «Красная Талка» и «Яковлевская мануфактура» не стали ему ближе, чем названия родных махаллинских переулков. Он мог с закрытыми глазами нарисовать схему их цехов, как план собственной квартиры.

Но одно дело – зубрить знания на бумаге, и совсем иное – столкнуться с Иваново вживую. Бумага была молчалива. Она не рассказывала о цвете неба, которое, должно быть, со-

всем иное, низкое и влажное. Не говорила о запахе улиц, где, наверное, пахнет не специей и пылью, а дымом, бензином и сырой шерстью. Не шептала о характере людей, их сдержанных улыбках и прищуре, выработанном под постоянным, неярким светом.

Моисей с трудом представлял, что его ждет там, на далеком русском Севере, совсем незнакомом ему. Он мысленно примерял на себя эту жизнь, как неудобный, чужой пиджак. Утро. Не звон муэдзина, а гудок паровоза. Не чайная пиала в руках, а кружка с паром. Не пестрые халаты соседей, а серые плащи. Он не ведал, как вольется в рабочий коллектив, эти сплетенные годами совместного труда сообщества, где у каждого свое прочное, давно обжитое место. Как впишется в тамошний уклад – безусловно, совсем иной и непривычный ему, медлительный и основательный, с иным чувством юмора, с иной мерой доверия и отчужденности. Словно ему предстояло не просто переехать, а научиться дышать другим воздухом.

И от этого сжималось сердце и тяжелело в висках. Тоска была не острой, а тугой, глухой, как предчувствие долгой зимы. Он стоял у окна общежития, глядел на московские огни, уже чужие, временные, и думал о том, что все его пять лет упорного труда, все эти победы над интегралами и термодинамикой, были лишь долгой и сложной подготовкой к самому главному, самому трудному экзамену – экзамену на вхождение в жизнь. Чужую жизнь. И билет на этот экзамен был

уже у него в кармане – с печатью и подписью, с одной-единственной судьбоносной строчкой: «г. Иваново».

Иваново встретило его серым небом, запахом крахмала с фабрик и бесконечными, как челнок станка, улицами с деревянными домами. «Город невест» – так говорили шутя, из-за преобладания женского труда на ткацких производствах. Для Моисея, выросшего в пестроте Востока, эта северная монотонность была пугающей. Он, привыкший к бою, тут вдруг стушевался. Девушки в цеху, на улицах, в общежитии – все они казались ему хрупкими, неземными существами из другой, непонятной жизни. Он боялся заговорить, боялся показаться навязчивым, боялся даже взгляда.

И тут он увидел Эстер.

Это случилось в библиотеке. Он искал справочник по наладке импортного оборудования, а она, сидя у окна, читала томик Пастернака. Свет падал на её профиль, на тёмные, уложенные в строгую, но изящную причёску волосы, на длинные ресницы. Она не была красавицей в общепринятом смысле. В ней была иная красота – одухотворённая, сосредоточенная, с лёгкой грустинкой в уголках губ. Он узнал в ней свою. Узнал по этому особому, внимательному взгляду, по едва уловимой осторожности в движениях, выдававшей человека, который всегда помнит, кто он и откуда.

Эстер Мильштейн была учительницей русского языка и

литературы в средней школе на улице Декабристов. Дочь ленинградских интеллигентов, чудом пережившая блокаду и оказавшаяся в Иваново по воле тех же безумных вихрей истории, что и он. Они разговорились о книгах. Оказалось, она обожает Цветаеву, а он, к её удивлению, мог цитировать на память отрывки из «Поэмы конца». Это было не показное, а глубокое, выстраданное знание. За словом потянулось слово. Он, обычно такой сдержанный, говорил с ней о самом сокровенном – о Кашгарке, о страхе перед дракой, о древнем ташкентском базаре Чор-су, о том, как видел впервые море – направляясь сюда, на север России – и оно показалось ему слезами всей земли.

Ухаживал он долго, робко, по-мальчишески трогательно. Носил ей книги, которые было не достать, встречал после школы, провожал под руку по скользким ивановским тротуарам. Она сомневалась. Он был другим – не из её круга, с южным акцентом, с грубоватыми, рабочими руками. Но в его преданности, в этой тихой, неотступной силе, было что-то незыблемое. Как скала. И когда он, наконец, опустился перед ней на одно колено (не в романтическом парке, а в её крошечной коммунальной кухне, пахнущей капустой и керосинкой) и сказал, запинаясь: «Эстер, я буду тебя беречь. Всю жизнь», – она положила свою тонкую, холодную руку на его затылок и кивнула. Словно не невеста, а союзница в битве, принимающая присягу.

Брак их стал тихой гаванью. Они сняли комнату в деревянном доме, завели котёнка, по вечерам читали вслух. Родился Артём – крепкий, шумный мальчик с глазами отца. Потом Элина – хрупкая, задумчивая девочка, точная копия матери в детстве. Моисей поднялся по служебной лестнице, стал начальником смены. Эстер любили в школе. Казалось, жизнь, наконец, распрямилась, как хорошо отглаженное полотно.

И тут в школу пришёл новый директор. Тариэл Сулаквелидзе.

Он вошёл в тесный школьный коллектив не как человек, а как особенное явление. Даже не вошел, а, скорее, снизошел... Спустился с какой-то высоты, недостижимой для других. Отличник народного образования, с гордой осанкой, в безукоризненно сидящем темном костюме, с густыми, чёрными, как крыло ворона, волосами и властным взглядом. Его прошлое в Кутаиси было окутано туманом – говорили и о конфликтах, но и о серьезных связях, о чём-то тёмном, что заставило его резко перебраться в русскую глубинку – но связи все-таки спасли, не дали утонуть. Вроде бы помог ему брат Зураб, шофер третьего секретаря ЦК Грузии. В системе, где всё решали связи, эта должность была не шофёрской, а почти магической. Она открывала двери. Все это знали, принимали, как должное, не протестовали. С одной стороны – себе дороже, с другой – каждый мечтал когда-то об-

завестись похожими связями...

Тариэл увидел Эстер впервые на педсовете. И отчего-то потерял голову. Он был опытный мужчина – даже чересчур опытный. С юношества падкий, жадный до женского пола, кого только он не затаскивал в свою роскошную постель на втором этаже номенклатурной «сталинки» в Кутаиси... В основном то были продавщицы и крестьянки, но попалась и одна настоящая грузинская княжна, и одна ассирийка, которая утверждала, что принадлежит к древнему шахскому роду из Персии – сомнительно, но Тариэл не стал спорить. Были русские, армянки, татарки, снова грузинки.

Но в этой строгой, интеллигентной еврейской женщине, в её сдержанности, в глубине её тёмных глаз, он увидел не просто объект желания. Увидел вызов. Покорение такой женщины казалось ему актом утверждения собственной власти, доказательством своей силы, которая простирается дальше школьных стен.

Сначала были знаки внимания: приглашения в кабинет «для беседы», комплименты, цветы, которые она молча оставляла в учительской. Потом – намёки, тяжёлые, двусмысленные взгляды. Эстер отмалчивалась, избегала, пряталась за спины коллег. Тогда началось давление. Мелкие, но унижительные придирки: к оформлению журналов, к методике преподавания, к «недостаточно патриотичному» подбору стихов для внеклассного чтения. Он вызывал её на ко-

вёр, и его голос, бархатный и ядовитый, как змеиное шипение, заполнял кабинет: «Эстер Соломоновна, вы не понимаете... здесь, в российской глубинке, нужен иной подход. Вы, интеллигенты, всегда витаете в облаках. Пора спуститься на землю. Или... вам помочь?»

Она приходила домой серая, почти прозрачная от унижения и страха. Моисей видел это. Сначала пытался говорить: «Пожалуюсь в горно!» Но Эстер только качала головой: «У него везде связи, Мотик. Только хуже сделаешь». Угроза висела в воздухе, липкая и неотвратимая. Это был не просто домогатель. Это был хозяин положения, который методично, как палач, закручивал гайки.

Однажды он задержал её после уроков допоздна. Кабинет был пуст. Он подошёл слишком близко, и от него пахло дорогим коньяком и мужской агрессией. «Ты такая холодная, Эстер, – прошептал он. – Как снег на этих ваших северных горах. Но я снег растоплю. У меня горячая кровь. И я всегда получаю то, что хочу».

Она вырвалась и прибежала домой, вся дрожа, как в лихорадке. В ту ночь они не спали. Сидели на кухне, и Моисей, глядя на её искажённое страхом лицо, впервые за много лет почувствовал себя не защитником, а загнанным зверем. Бороться с системой, в которую вписан Сулаквелидзе, было бесполезно. Оставалось одно – бежать.

– Куда?! – спросила она, безнадежно.

Моисей посмотрел на карту СССР, висевшую на стене. Его взгляд скользнул на восток, за Урал. Туда, где на бескрайних болотах Западной Сибири открыли «большую нефть». Туда, где строили город будущего – Сургут. Там нужны были сильные руки и светлые головы. Там не было места старым связям и мелким пакостям провинциального сатрапа. Там был новый фронт, где ценили дело, а не интриги.

– В Сургут, – твёрдо сказал он.

Это было не переселение. Это было бегство. Исход. Снова, как когда-то его родители, они собирали немудрёный скарб в чемоданы. Продали что могли. Прощание было горьким. Коллеги Эстер плакали, Артём, уже школьник, злился и ломал игрушки, маленькая Элина цеплялась за мамину юбку, не понимая, куда и зачем.

Поезд на восток увозил их в неизвестность. Моисей смотрел в окно на мелькающие берёзы, потом на бескрайнюю тайгу, и сжимал руку Эстер. Она прижалась к его плечу, и в её глазах, помимо страха и усталости, появилась искра – искра надежды. Они плыли сквозь континент, как плыли их предки сквозь века и страны, гонимые и несломленные, держась друг за друга – их последний и самый надёжный оплот.

Глава 2. Сургут – город на костях

Поезд шёл долго, словно пересекал не просто страну, а

несколько эпох. За Уралом кончилась привычная, обжитая Россия с её полями, перелесками и покосившимися деревеньками. Началась Сибирь. Сначала – бесконечная тайга, тёмно-зелёная, почти чёрная стена, подступающая к самым насыпям. Потом – болота, бескрайние, тоскливые, с чахлыми лиственницами и зыбкими огоньками блуждающих огней в ночи. Воздух за окном стал другим – влажным, студёным, пахнущим хвоей, тростником и чем-то древним, торфяным. Артём прилип к стеклу, тыча пальцем в мелькающих лосей. Элина спала, уткнувшись в колени матери. Эстер смотрела в одну точку, её лицо было маской отрешённости. Только пальцы, судорожно переплетённые с пальцами Моисея, выдавали внутреннее напряжение.

А Моисей смотрел и думал. Думал о том, как похож этот путь на всю их историю – изгнание в неизвестность. Но если его родители бежали от войны, то он бежал от мелкой, удушающей подлости. И от этой мысли становилось и горько, и стыдно. Он – мужчина, кормилец, должен был защитить, а вместо этого увёз семью на край света. «Я найду для нас место, – мысленно клялся он, глядя на затылок спящей дочери. – Мы устроимся. Здесь нас никто не тронет».

Сургут встретил их не городом, а стройкой, гигантской и хаотичной, выросшей посреди таёжного безмолвия. Вокзал – деревянный барак. Улицы – направления, протоптанные в грязи между горбами промёрзшей земли, утыканые

вагончиками-бочками, щитовыми домиками и приземистыми пятиэтажками, похожими на крепости. Воздух гудел от рёва бульдозеров, стука свай и тяжёлого дыхания дизелей. И над всем этим – невероятное, пронзительно-синее небо, кажущееся выше и холоднее, чем где-либо ещё.

Первые дни были адом. Прописка, очередь на жильё, временное общежитие на восемь семей в одной комнате, разделённой простынями. Запах сырости, махорки и дешёвого одеколona. Но Моисей не сломался. В нём проснулась кашгарская цепкость. Он прошёл комиссию на нефтегазовом управлении и, к своему удивлению, был принят не просто инженером, а старшим инженером по охране труда. Здесь, на ударной комсомольской стройке, его дотошность, умение читать чертежи и врождённая осторожность оказались нужны как воздух. Люди гибли часто: то свая рухнет, то техника провалится в болото, то газ...

Эстер устроилась в новую, только что отстроенную школу на окраине. Директором был сухопарый, вечно озабоченный сибиряк, для которого главным было заполнить классы и дать детям хоть какое-то образование. На Эстер, с её ленинградским выговором, глубоким знанием литературы и деликатностью, смотрели сначала с подозрением, а потом – с растущим уважением. Здесь не было места интригам. Здесь ценили умение работать. Сулаквелидзе с его бархатными угрозами остался где-то в другом, почти забытом мире, как кошмарный сон.

Прошел год. Ничтожный по исторический меркам срок – и громадный для них. И случилось чудо: они получили квартиру. Даже не комнату, а целую двухкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке. Это был удивительный подарок судьбы. Пусть окна выходят на строящийся завод, пусть зимой стены промерзают, а сантехника работает через раз – это был их крепость. Моисей собственноручно заклеивал окна, мастерил полки, вешал люстру. Эстер развешивала занавески, привезённые ещё из Иваново, и ставила на подоконник герань – живой, упрямый росток жизни среди бетона и железа.

Сургут затягивал. Своей дикой, грубой силой. Летом – это море комарья, тучи мошкары, звенящие в воздухе, и белые ночи, когда в час ночи можно читать газету на улице. Река Обь, широкая, как море, несущая мутные, тяжёлые воды к океану. Зимой – сорокаградусные морозы, заставляющие воздух звенеть, как хрусталь, и снега, белые, безбрежные, под которыми скрывалось всё – и стройки, и дома, и машины, и надежды.

Моисей работал, пропадая на объектах сутками. Его уважали. Он не кричал, не ругался, но его спокойное, обстоятельное «так нельзя, люди погибнут» начальство слушало. Он спасал жизни, предотвращал аварии. И в этом нашёл своё новое предназначение – не создавать ткани, а сохранять че-

ловеческую плоть и кровь на этой суровой земле.

Эстер тоже нашла себя. Её полюбили дети – дети геологов, буровиков, строителей, приехавших со всего Союза. На её уроках литературы оживали не только классики, но и сама жизнь – трудная, с переездами, разлуками, но полная смысла. Она вела литературный кружок, и в маленьком уютном кабинете после уроков пахло книгами, ванилью от печенья и детской жаждой прекрасного.

Артём, крепкий и энергичный, стал настоящим сургутянином. Ловил рыбу на Оби, знал все стройки в округе, мечтал стать или бульдозеристом, или лётчиком. Элина, тонкая и мечтательная, тосковала по зелёным ивановским паркам. Сибирь пугала её своей масштабностью и равнодушием. Она завела дневник, куда записывала стихи и рисовала странные цветы, которых не было в тайге.

Прошло пять лет. Жизнь вошла в колею. Казалось, бегство удалось. Они отстроили своё гнездо, вырастили детей, нашли почву под ногами. Порой, глядя на закат над бескрайней Обью, окрашивающий снега в кроваво-розовый цвет, Моисей думал: «Мы справились. Мы переплыли».

Он не знал, что самые большие бури часто приходят из тихой гавани. И что прошлое, как болотный огонёк, может вспыхнуть в самый неожиданный момент, осветив старые страхи новым, леденящим светом.

Глава 3. Огни болотные, под персиковыми облаками

В школе, где работала Эстер, случилось ЧП. Старшеклассники, разбирая в подвале списанные книги из старой библиотеки, нашли кем-то спрятанную бутылку с самогоном и, по глупости, выпили. Кто-то сразу проблевался и наступило облегчение, кто-то вообще ничего не почувствовал. А вот одного парня, сына начальника одного из нефтяных управлений, едва откачали в больнице. Был страшный скандал. Директора-сибиряка, честного и бесхитростного, сняли с работы «за утрату бдительности». Но даже этого показалось мало. Инструктор обкома Григорий Веретенников, которому поручили контролировать процесс «очищения» школы, взялся за дело с поистине дьявольской основательностью. Он решил проверить всех и все, и перетряхнуть, как он говорил, «старый школьный аппарат». Это было выражение из другой эпохи – той, которая, как казалось, ушла навсегда. И вот на тебе...

По его наущению в школу был послан проверяющий из областного управления образования. С самыми широкими правами. Причем его неофициальные права подразумевались гораздо более широкими, чем официальные. Он имел право карать и миловать, отпускать грехи – или же преследовать свои жертвы до конца. Человек в строгом костюме, с пронизательным взглядом за стёклами очков и... таким знакомым, бархатным голосом с кавказским акцентом.

Этот голос был до боли похож на голос Тариэл. Он и не

мог *не быть* похожим – ведь проверяющим оказался его родной брат, Зураб Сулаквелидзе. Тот самый бывший шофёр из гаража ЦК Компартии Грузии. А ныне, воспользовавшись связями и умением устраиваться, – ставший всемогущим ре-визор.

Он вошёл в учительскую, и его взгляд, скользнув по лицам учителей, намертво прилип к Эстер. Он не подал виду. Но она почувствовала это, как удар под дых. Холодная волна страха накрыла её с головой. Зураб вёл проверку тщательно, дотошно. Особенно – в её документах. Нашёл «недочёты». Один урок литературы, посвящённый Ахматовой, он назвал «сомнительным с идеологической точки зрения».

«Эстер Соломоновна, – сказал он ей наедине, закрыв дверь кабинета. Голос его был тихим, но каждое слово падало, как капля ледяной стужи. – Какая неожиданная встреча. Мой брат, Тариэл, часто вспоминал вас. Очень сокрушался, что вы так... внезапно уехали. Поразительное дело – но он до сих пор не оправился.

Она молчала, сжав руки на коленях, чтобы они не дрожали.

– Удивительно, как судьба сводит людей, – продолжал он, разглядывая её, как какой-то экспонат. – Вы здесь устроились хорошо. Семья, дети... Прекрасно. Жаль, если что-то омрачит эту идиллию. К сожалению, объективная проверка выявила серьёзные упущения. Возможно, даже халатность. Вплоть до увольнения. Или... хуже. В наше время внимание

к идеологической работе очень пристальное.

Это была тщательно продуманная, безошибочная атака. Не грубое домогательство, а холодный, расчётливый шантаж. «У меня есть власть испортить тебе жизнь, – говорил его взгляд. – И я это сделаю, если мы не получим того, что так хотим».

Эстер ничего не сказала Моисею в тот вечер. Она видела, как он устал – днем его вызывали на аварийную скважину в двадцати километрах от города, где был неожиданный выброс газа. Он вернулся только поздно вечером, запыханный, с запахом сероводорода в волосах, и сразу рухнул спать. Она смотрела на его спящее, осунувшееся лицо и не могла вымолвить ни слова. Не могла снова стать причиной его бегства, его страданий. «Перетерплю, – думала она. – Может, Зураб все-таки отстанет от меня. Можете, уедет из нашего города. Может, просто запугивает».

Но Зураб никуда не уехал. Он задержался в Сургуте. С негласного благословения инструктор обкома Веретенникова продолжил свою дьявольскую работу по «очищению советской школы». Досталось не только Эстер – Зураб Сулаквелидзе поднял личные дела и других учителей, опросил школьников и их родителей, присутствовал на уроках... а потом писал свои заключения, которые действовали как приговор.

Но Эстер ясно видела, что преследование всех остальных

учителей – не более чем дымовая завеса. Сулаквелидзе была нужна лишь она одна. Именно вокруг нее братья из Грузии плели свою жутковатую сеть.

И началась изощрённая игра. Анонимные звонки на домашний телефон, когда Моисей был на вахте: тяжёлое молчание в трубке, потом – щелчок, отбой. Письма на школьный адрес – вырезки из старых газет с намёками на «космополитизм», на «неправильное» происхождение. Её стали вызывать в райком комсомола – хотя ей было уже за сорок – «для беседы о воспитательной работе». Начались придирки и от новых, внезапно сменившихся завучей. Атмосфера сгустилась, как болотный туман.

Трагедия обрушилась оттуда, откуда не ждали. Артём, их шестнадцатилетний сын, пошёл с друзьями на лодке кататься по протокам Оби. Когда они плыли мимо деревни Почуево, увидели вдалеке почерневшую крышу какой-то полузапленного барака, приткнувшегося на самом берегу реки и уже наполовину ушедшего в воду. Они решили остановиться там, разжечь костер, напечь себе картошки.

Барак оказался заброшенной базой геологов, которые очень давно что-то искали в этих краях. И там, в развалинах, ребята обнаружили ящики со старыми, ещё военными патронами. Бросили патроны в костер, чтобы получился «фейерверк». Патроны стали взрываться, разлетаться огненными

осколками с треском и грохотом. Ребята чуть ли не визжали от восторга.

Но один из патронов оказался вовсе не патроном, а запалом от специальной шашки, с помощью которой геологи вскрывали пласты. Раздался мощный взрыв. Двух мальчишек ранило осколками. Артёма, который стоял ближе всех, отбросило взрывной волной, он ударился головой о вкопанное в землю бревно, на котором держалась крыша геологического барака. И рухнул на землю без сознания.

Его привезли в сургутскую больницу с черепно-мозговой травмой и внутренним кровотечением. Три дня он провёл между жизнью и смертью. Моисей и Эстер дежурили у палаты, не ели, не спали, молились впервые в жизни – каждый своим богам. Моисей – шепча слова, которых не знал, глядя на тусклый потолок больничного коридора. Эстер – беззвучно шевеля губами, сжимая в руках потрёпанный томик Мандельштама, как талисман.

Артём выжил. Но остались последствия: сильные головные боли, проблемы с памятью, врачи говорили о возможной эпилепсии. Мечты об авиации рухнули. И в самый разгар этой семейной драмы, когда все силы уходили на сына, в школу пришла бумага. Официальное уведомление: «В связи с выявленными в ходе проверки серьёзными недостатками в идеологической и воспитательной работе, а также ввиду частых отлучек по семейным обстоятельствам, Мильштейн

Э.С. отстраняется от педагогической деятельности. Вопрос об увольнении будет рассмотрен на комиссии».

Это был удар ниже пояса. Работа, её отдушина, её смысл – всё рушилось. И Эстер поняла: это не случайность. Это – месть. Методичное, хладнокровное уничтожение. Зураб, действуя из тени, делал свою работу.

Однажды вечером, когда Моисей снова уехал на аварийную скважину, раздался звонок. Голос Зураба в трубке был спокоен и деловит.

– Эстер Соломоновна. Я слышал о беде с вашим сыном. Искренне соболезную. Видите, как жизнь бывает жестока? Но её можно... смягчить. У меня есть знакомые врачи в Москве, лучшие нейрохирурги. Они могут помочь мальчику. И ваше увольнение... его можно отменить. Одно – маленькое условие. Мой брат Тариэл приезжает в Сургут через неделю. По служебным делам. Он очень хочет вас увидеть. Поговорить. По-старому. В гостинице «Нефтяник». Номер 407. В восемь вечера. Придёте – все проблемы решатся. Не придёте... – он сделал паузу, – ну, вы понимаете. Со здоровьем подростков, да ещё с такой травмой... случается всякое. – Грузин помолчал, потом хмыкнул в трубку: – И вообще, как вы понимаете, школа – это только начало.

Эстер опустила трубку. В глазах потемнело. Это был уже не шантаж. Это была ловушка, из которой нет выхода. Отка-

заться – означало обречь Артёма на инвалидность, а семью – на нищету и позор. Согласиться... Согласиться на то, чего она боялась все эти годы. Предать себя. Предать Моисея.

Она посмотрела на спящего Артёма, на его бледное, так странно и страшно повзрослевшее после операции от боли лицо. Посмотрела на фотографию Элины в школьной форме. На томик Пастернака, лежащий на столе. И на пустой стул Моисея.

Выхода не было. Казалось, сама судьба, в лице этих двух братьев, настигла их здесь, на краю земли, чтобы завершить начатое. Она была в тисках. И любое неверное движение вызовет лишь сокрушительный хруст ее костей. Эстер чувствовала себя маленькой пташкой, попавшей в ловушку. И рядом с ней притаился страшный медведь, готовый одним ударом массивной когтистой лапы, безжалостно и играючи, сломать ее хрупкую жизнь. Растереть ее в пыль. И пойти дальше – по своим хищным медвежьим делам.

В ту ночь она не спала. Сидела у окна и смотрела на огромное, холодное сибирское небо, усыпанное незнакомыми, яркими звёздами. На краю горизонта полыхали огни газовых факелов – вечные, бесполезные костры, сжигающие попутный газ. Как братья Сулаквелидзе сжигали её жизнь.

А на рассвете, когда первые грузовики загудели и загрохотали на улице, она приняла решение. Не то, которого от неё ждали. Не то, о котором думала всю ночь. Отчаянное, безум-

ное, но единственное, что оставляло ей шанс сохранить и семью, и себя. Она подошла к старому чемодану, где хранила самое дорогое, и достала оттуда маленькую, потёртую коробочку. В ней лежали бабушкины серьги-сливочки, единственная драгоценность, уцелевшая из прошлой жизни. И – пистолет. ТТ. Трофейный, отцовский. Тот самый, с которым Соломон Эренбург уходил в ополчение в 41-м и который чудом пронёс через всю войну и эвакуацию. Он лежал, тяжёлый и холодный, обёрнутый в бархатную тряпицу. Отец отдал его Моисею когда-то со словами: «На всякий пожарный случай. Наш мир – опасное место». Моисей, ненавидевший оружие, спрятал его на дно чемодана. А потом словно и забыл про него.

Эстер взяла пистолет. Вес его был неожиданным, чужеродным в её тонкой, учительской руке. Она никогда не держала оружия. Но сейчас этот холодный кусок металла был единственным, что стояло между её семьёй и гибелью.

Она не собиралась прийти в номер 407, в номер Тариэла Сулаквелидзе, как жертва. Как его наложница, подвластная его жутковатой воле, его капризам, его изощренному мщению.

Нет, она собиралась нанести этот визит сама. Тщательно его подготовив. И сделав так, чтобы Тариэл запомнил ее приход надолго.

Не как жертва, а как... что? Мстительница? Защитница? Она ещё не знала. Она только знала, что больше не может

плыть по течению, уворачиваясь от ударов. Пора было повернуться и встретить бурю лицом к лицу. Даже если это будет последнее, что она сделает в жизни.

А в это время Моисей, в пятидесяти километрах от города, стоял на краю аварийной котловины. Газ уже потушили, но земля дышала паром и запахом серы. Он смотрел на чёрное, нефтяное пятно на снегу и думал не о работе. Он думал о жене. О её последнем, странно отрешённом взгляде. О том, как она вдруг крепко обняла его на пороге, будто прощаясь. В его сердце, привыкшем к суровой мужской логике, вдруг зашевелилась тёмная, беспричинная тревога. Что-то было не так. Что-то шло не так. Он ощущал это всем своим сердцем, всей кожей. Он не мог сформулировать это словами – но отчего-то понимал, что должен действовать. Что не может больше медлить ни минуты.

Он вдруг резко развернулся и пошёл к начальнику смены. «Мне срочно в город. Семейные обстоятельства».

«Да ты что, Эренбург, тут же...»

«Я уезжаю, – перебил Моисей, и в его голосе прозвучала та самая, кашгарская сталь. – Сейчас».

Он сел в уазик и приказал водителю гнать что есть мочи, не глядя на кочки и ухабы. Сердце его колотилось в такт стук мотора. Он не знал, что именно случилось. Но знал одно: его Эстер в беде. И он уже опаздывает.

Глава 4. Ночь перед бурей.

Пистолет лежал на кухонном столе, рядом с недопитой чашкой холодного чая. Эстер сидела, уставившись в его синеватый, матовый блеск. Она не плакала. Слезы высохли, выгорели изнутри, оставив только холодный, кристальный пепел решимости. Она думала не о смерти – ни своей, ни Сулаквелидзе. Она думала о жизни. О жизни Артёма после этой ночи. О жизни Элины, которая завтра проснётся и... что она увидит? Мать-убийцу? Или мать, сломленную и опозоренную? Оба варианта были невыносимы.

Мысль о том, чтобы просто выстрелить, отпала сразу. Она не убийца. И такой шаг погубил бы всех – и её, и детей, и Моисея. Но пистолет... пистолет был символом. Он был голосом, которого у неё отняли. Он был границей, которую она могла провести.

Она подняла тяжёлый ТТ, снова ощутив его зловещую, неженскую тяжесть. Вынула обойму. Патроны, тусклые, латунные, лежали в коробочке. Отец Моисея хранил их, как реликвию. Она вложила один патрон в обойму. Один. Не для того, чтобы убивать. Для того, чтобы говорить.

Затем она взяла блокнот и стала писать. Письмо Моисею. Не прощальное, а объяснительное. Она описала всё: приставания Тариеэла, угрозы Зураба, анонимные звонки, увольнение. Писала чётко, без истерик, как протокол. И в конце добавила: «Мотик, прости меня за то, что скрывала. Не хотела быть обузой. Но сейчас я иду к ним, чтобы поставить точку.

Не бойся за меня. Я возьму с собой отцовский пистолет. Я не убью никого. Но они должны знать – у нашей семьи есть зубы. Если со мной что-то случится, это письмо – доказательство. Люблю тебя. Береги детей».

Спрятала письмо под подушку на их кровати. Проверила – Артём спит тяжёлым, лекарственным сном. Элина тоже. Она наклонилась, поцеловала каждого в лоб, вдохнув запах детских волос – смесь запаха шампуня, лекарств и невинности.

Надела самое строгое, тёмное платье. Поправила волосы. Взяла пистолет и сунула его в хозяйственную сумку, прикрыв сверху тряпкой для мытья полов. Со стороны она выглядела как женщина, идущая на ночную уборку школы перед утренними занятиями. Привычная для Сургута картина. Вышла из квартиры, тихо прикрыв дверь.

Сургутская ночь была не чёрной, а тёмно-фиолетовой. От снега и неона городских огней исходил призрачный свет. Мороз щипал щёки. Она шла быстро, почти бежала, не чувствуя холода. В голове стучало только одно: «Номер 407. Гостиница «Нефтяник».

Моисей в это время мчался по зимнику. Уазик подбрасывало на ухабах, свет фар хаотично выхватывал из тьмы призрачные стволы лиственниц. В машине была примитивная радиостанция, с которой тем не менее, можно было связаться с диспетчерской. А там, с помощью какой-то неведомой корейской технологии, пощелкав тумблерами, диспетчер по-

сле мучительного ожидания соединил его по телефону с домом. Это было настоящее чудо. Трубку подняла сонная Элина: «Мамы нет. Она куда-то ушла. Сказала, скоро вернётся». Сердце Моисея упало в пятки.

– Пап, а ты не знаешь, зачем ей сумка? – вдруг спросила дочь. – Она взяла ту старую, зелёную. В которой лежат старые тряпки. А рядом с кроватью стоит чемодан... тоже старый, весь запыленный. Ну, тот, что мы всегда хотели выкинуть – а ты все не разрешал. Может, его все-таки отнести на помойку, а? Всю комнату загородил...

– Какую сумку? Какой чемодан? – переспросил он, но уже понимал. Он вспомнил. В том чемодане, на дне, под свёртками с разным старьём... он хранил отцовский пистолет. Тот, что привёз из Ташкента и забыл.

А зачем Эстер еще и прихватила старую сумку с тряпками, можно было только догадываться. И от этих догадок становилось по-настоящему страшно.

Лёд сковал его внутренности. «Гони быстрее!» – прохрипел он водителю, и тот, не спрашивая, вжал педаль до упора в пол.

Гостиница «Нефтяник» была бетонной девятиэтажной коробкой, одним из первых «высотных» зданий Сургута. Эстер вошла в пустынное, пропахшее табаком и пивом фойе. Дежурная, полная женщина в застиранном халате, дремала

за стойкой. Видимо, она весь вечер боролась с дремотой – и так и не смогла ее перебороть.

Эстер прошла к лифту, не привлекая внимания. Сердце колотилось так, что, казалось, заглушает стук тяжелого механизма.

Четвёртый этаж. Длинный коридор с тусклыми лампами. Ковёр, издающий запах пыли и окурков. Дверь 407. Она остановилась перед ней, положила ладонь на холодное дерево. Из-за двери доносились голоса, смех, звон посуды. Их было двое. Мелодично играла грузинская музыка.

Эстер сделала глубокий вдох. Вынула пистолет из сумки. Он был ещё холоднее, чем дверь. Она оттянула затвор, как видела в кино, вложила обойму с одним патроном. Щёлк затвора прозвучал в тишине коридора оглушительно.

Она не стала стучать. Резко нажала на ручку. Дверь не была заперта.

В номере, за столом, заставленном бутылками и закусками, сидели двое. Зрачки Эстер сузились, когда ее взгляд наткнулся на Тариэла Сулаквелидзе. Он почти не изменился: те же густые волосы, властный взгляд, лишь добавилась седина у висков и тяжеловатая складка у рта. Он был в расстёгнутой рубашке. Рядом, в кресле, развалился Зураб – более грузный, с лицом уставшего хищника.

Они обернулись на скрип двери. Увидели её. Сначала – удивление. Потом – у Тариэла – медленная, победная улыбка. Он поднялся.

– Эстер Соломоновна! Какая честь! Мы уже думали, вы не придё...

Он не договорил. Его взгляд упал на пистолет в её руке. Улыбка сползла с лица, сменившись сначала недоумением, потом – холодной настороженностью. Зураб медленно поднялся с кресла.

– Что это значит? – спокойно, слишком спокойно спросил Тариэл.

Эстер вошла в номер, прикрыла дверь спиной. Рука с пистолетом дрожала, но она упёрла локоть в бок, чтобы скрыть дрожь.

– Это значит, что игра окончена, – сказала она, и её голос, к её собственному удивлению, звучал низко и твёрдо. – Вы будете слушать. И делать то, что я скажу.

Зураб фыркнул.

– Драматизируешь, женщина. Положи эту игрушку. Ты же не умеешь...

Она резко подняла пистолет и направила его не на них, а в окно. И спустила курок.

Грохот выстрела в замкнутом номере был оглушительным. Стекло окна звонко высыпалось на улицу. В коридоре загалдели, слышались шаги.

Тариэл и Зураб замерли. Они поняли, что это не блеф. Это женщина, доведённая до края отчаяния. Готовая шагнуть в пропасть, уже не думая.

– Ты сумасшедшая! – прошипел Зураб.

– Возможно, – согласилась Эстер. Теперь пистолет был направлен на них.

– Слушайте внимательно. Завтра же вы отзовёте все жалобы на меня. Восстановите меня в школе. Исчезнете из Сургута. Навсегда. Если я ещё раз увижу вас, или услышу о ваших происках... – она сделала паузу, – я не буду стрелять в вас. Я пойду в милицию. И расскажу всё. О домогательствах в Иваново. О шантаже здесь. И покажу этот пистолет. С одним патроном. Скажу, что вы пытались меня изнасиловать, и я защищалась. У вас связи? Прекрасно. У меня – доказательства отчаяния. И публичный скандал, в котором вас выставят не начальниками, а мразью. Кто вам поверит? Кто заступится за тех, кто травит мать больного ребёнка?

Она говорила быстро, чётко, как отчеканивая каждое слово. И видела, как её слова впиваются в них. Они привыкли к страху подчинённых, к интригам в тиши кабинетов. Они не привыкли к открытому, безумному бунту. К женщине с пистолетом и ничего не теряющим взглядом.

В дверь застучали. «Что там происходит? Открывайте!»

– Ничего! – крикнул Тариэл, не отрывая глаз от Эстер. – Разбили зеркало! Всё в порядке!

Он смотрел на неё, и в его глазах бушевала буря: ярость, унижение и... страх. Страх перед этим публичным позором, который она обещала. Его карьера, его репутация – всё это было хрупким карточным домиком, который мог рухнуть от одного громкого скандала.

– Ты понимаешь, что тебя за это посадят? – тихо сказал Зураб.

– Может быть, – кивнула Эстер. – Но вас – ошпарят кипятком, словно приبلудных псов. И вы будете ползать по всем парткомам, пытаясь объяснить, как так вышло. Хотите попробовать? – В ее голосе звучала такая угроза, от которой воздух в номере буквально вибрировал.

Наступила тишина. Снаружи затихли. Видимо, поверили, что разбили зеркало. Музыка из магнитофона уже не играла.

– Хорошо, – наконец сказал Тариэл, и его голос был пустым, безжизненным. – Ты победила. Мы уедем. Забудь о нас.

– Не «забудь», – поправила его Эстер. – А «прости нас». И вы не просто уедете – вы исчезните. Навсегда. На веки вечные. – Она сглотнула тяжелый комок в горле. – И мне нужны от вас слова. В письменном виде. Пишите расписку, что вы отказываетесь от всех претензий и обязуетесь не вмешиваться в мою жизнь. Сейчас!

Зураб засмеялся – коротко, злобно.

– Ты и правда сошла с ума. Какая расписка?

– Та, – уже спокойно сказала Эстер, – которую я пришлю в партком, если вы нарушите слово. Пишите. На листке из вашего блокнота.

Они переглянулись. Видимо, прочли в глазах друг друга одно и то же: связываться с этой фурией сейчас – себе дороже. Тариэл, стиснув зубы, достал блокнот, оторвал ли-

сток и что-то быстро написал. Протянул ей. «В соответствии с результатами нашей беседы и обсуждения, все вопросы к Мильштейн Э.С. считаю исчерпанными. Я отказываюсь от всех претензий и обязуюсь не вмешиваться в ее семейную и личную жизнь. С ув., Т. Сулаквелидзе.

Она взяла листок, сунула в карман, не сводя с них глаз и не опуская пистолет.

– Теперь выйдите. Вместе со мной. И уезжайте. Сегодня же ночью.

Они нехотя подчинились. Втроем они вышли в коридор. Дежурная и несколько полупьяных постояльцев с любопытством глазели на них. Эстер шла между двумя мужчинами, держа сумку с пистолетом наготове. В лифте царило гробовое молчание.

Внизу, в фойе, Тариэл обернулся к ней. В его взгляде уже не было страха, только ледяная, смертельная ненависть.

– Это не конец, – прошептал он так, чтобы слышала только она. – У нас длинная память.

– И у меня тоже, – так же тихо ответила Эстер. – И теперь – ещё и доказательства.

Она вышла на мороз, наблюдая, как они садятся в чёрную «Волгу» и уезжают в ночь. Только когда фары скрылись за поворотом, её накрыла слабость. Ноги подкосились. Она прислонилась к ледяной стене гостиницы и задышала часто-часто, пытаясь прогнать подступающую тошноту и дрожь. Пистолет в сумке вдруг стал казаться неподъёмным.

И тут рядом резко затормозил уазик. Из него выскочил Моисей. Его лицо было искажено ужасом. Увидев её, живую, прислонившуюся к стене, он бросился к ней, схватил за плечи.

– Эстер! Что случилось? Ты... цела?

Она посмотрела на него, и в её глазах, наконец, прорвались слёзы – не от страха, а от дикого, всесокрушающего облегчения.

– Всё в порядке, Мотик, – прошептала она. – Всё кончилось. Они уехали.

Он увидел разбитое окно на четвёртом этаже, её бледное лицо, сумку в её руке. Понял всё. Не спрашивая больше ни о чём, он обнял её – крепко, почти до хруста, прижал к своей груди, пахнувшей морозом и мазутом. И они стояли так посреди сургутской ночи – две солянки, две половинки, прошедшие через огонь и выстоявшие. Не потому, что были сильными. А потому, что их двое.

– Поедем домой, – сказал он наконец, усаживая её в уазик. – Домой, к детям.

Она кивнула, глядя в тёмное окно, где отражалось её измученное, но спокойное лицо. Битва была выиграна. Но война, как она понимала, просто перешла в другую, тихую фазу. Страх останется с ней. Но теперь он будет не парализующим, а осторожным. Как шрам. Напоминанием о том, что даже тихую воду надо переходить с камнем в руке. На всякий случай.

Глава 5. Серебряный водораздел

Ночь после гостиницы «Нефтяник» стала водоразделом. Не той мирной границей, что отделяет день ото дня, а глубокой трещиной, расколовшей жизнь на «до» и «после». Эстер не спала. Лежала рядом с Моисеем, прислушиваясь к его тяжёлому, ровному дыханию, и смотрела в потолок, где мерцал отблеск уличного фонаря. В ушах ещё стоял грохот выстрела, а в ладони будто бы навсегда отпечатался холодный вес пистолета. Она была не героиней. Она была выжившей. И это чувство – липкое, дрожащее – было горше любой победы.

Утром Моисей ушёл на работу молча. Не с упрёком, а с тяжёлым, сосредоточенным видом человека, который обдумывает стратегию. Он понимал: угроза не исчезла. Она лишь отползла в тень, чтобы зализать раны. Сулаквелидзе не простят унижения. Особенно – такого, от женщины. На Кавказе такие вещи не забывают.

Эстер заставила себя встать, накормить детей, собрать Элину в школу. Руки сами находили привычные движения, будто душа отсутствовала, управляя телом на расстоянии. Артём проснулся с жуткой головной болью. Она дала ему таблетку, укутала одеялом, и сердце её сжалось от новой, острой боли. Он стал разменной монетой в их войне. И эта цена казалась непосильной.

Через три дня в школе ей вернули заявление об увольнении. Новый, присланный из области директор – молодой,

энергичный технократ – вызвал её и сухо сообщил: «Вам повезло, Эстер Соломоновна. Претензии, ранее выдвинутые к вам по результатам проверки, разобраны и признаны недостаточно обоснованной. Можете продолжать работу». Ни извинений, ни объяснений. Просто факт. Зураб сдержал слово. Пока.

Правда, на работе все стало немного по-другому. Коллеги смотрели на неё искоса, с любопытством и опаской. Слухи о «женщине с пистолетом» (пусть и в сильно искажённом виде) уже поползли по городу. Теперь в ней видели не только умную училку, но и некую «опасную штучку». Ту, с которой лучше не связываться. Это отдаляло людей от нее. Она почувствовала себя белой вороной. Но одновременно – и защищённой. Страх, который она внушила, работал как щит.

Моисей тем временем вёл свою тихую войну. Он знал, что в Сургуте, как в любом закрытом сообществе, информация – валюта. Он начал осторожно собирать её. Общался с водителями, начальниками охраны, работниками гостиниц. Узнал, что братья Сулаквелидзе действительно уехали тем же рейсом в Тюмень, а оттуда – на юг. Узнал, что Зураб имел тёмную репутацию «решальщика» ещё в Грузии, а его перевод в Сибирь был не повышением, а почётной ссылкой после какого-то скандала. Это были крохи, но они складывались в картину: их враги были не всемогущи. У них были свои уязвимости.

Прошла зима. Сургутская весна – это не таяние, а медленное, грязное умирание снега. На дорогах – хлябь по колено, воздух пахнет влажной землёй, нефтью и надеждой. Артёму стало лучше. Приступы стали реже, он начал снова улыбаться, мечтал поступить в политехнический техникум на механика. Элина увлеклась фотографией, снимала бескрайние просторы, суровые лица нефтяников, удивительную красоту северного сияния. Казалось, жизнь налаживается.

Но однажды вечером, возвращаясь с родительского собрания, Эстер почувствовала неладное. За ней, вроде бы, шёл человек. Не приставал, не приближался, просто шёл. Она ускорила шаг – и шаги ускорились. Она свернула в тёмный проулок между гаражами – и они свернули. Сердце заколотилось, знакомый, тошнотворный страх подступил к горлу. Она обернулась. В свете редкого фонаря стоял незнакомец в тёмной куртке, лицо скрыто воротником. Он просто стоял и смотрел. Потом развернулся и ушёл.

Это было предупреждение. Чистое, немое, но понятное: «Мы вас видим. Мы здесь».

Эстер рассказала об этом Моисею. Он выслушал молча, лицо стало каменным. На следующий день он куда-то исчез после работы, вернулся поздно, от него пахло махоркой и чем-то металлическим.

- Всё, – сказал он коротко. – Поговорил с людьми.
- С какими людьми? – испугалась Эстер.

– С теми, кто понимает, что такое угроза семье, – ответил он уклончиво. – Здесь, на Севере, свои законы. Приезжих хамов не любят. Им объяснили, что если с тобой или с детьми что-то случится – хоть намёк – они не уедут из Сургута живыми. Никто не будет разбираться. Просто не уедут.

Эстер с ужасом смотрела на него. Её тихий, книжный Моисей говорил языком улицы, языком Кашгарки. И в его глазах горел тот самый, давно забытый огонь – холодный, расчётливый, опасный.

– Мотик, мы не можем... мы не бандиты.

– И не будем, – сказал он, беря её за руки. – Но мы должны показать зубы. Чтобы они знали: мы не овцы. Мы – волки, которые охраняют своё стадо. И разорвут любого, кто сунется.

Это сработало. Тени исчезли. Жизнь снова вошла в спокойное русло. Но напряжение не ушло. Оно поселилось в доме, как третий, невидимый жилец. Они перестали доверять тишине.

Летом 1979 года случилось два события, которые снова изменили курс их семейного корабля.

Первое – письмо из Израиля. Далекая родственница Софьи Яковлевны, уехавшая туда ещё в самом начале 1970-х, когда из СССР начали впервые массово выпускать евреев в эмиграцию, писала о новой жизни, о море, о чувстве, нако-

нец, обрётённого дома. «Здесь трудно, но здесь – свои, – стояли кривые строчки на тонкой бумаге. – И никто не спросит, почему ты еврей». Письмо ходило по рукам, его читали шёпотом, обсуждали украдкой. Для Моисея и Эстер, выросших с клеймом «лицо такой-то национальности», эти слова звучали как музыка с другой планеты. Дом. Свои. Это было так же недостижимо и маняще, как звёзды.

Второе событие было трагическим и масштабным. На одной из буровых, где недавно работал Моисей, произошёл чудовищный выброс с пожаром. Погибли люди. Его товарищи. Моисей участвовал в спасательной операции, вернулся чёрный от сажи, с пустыми глазами. Он молчал несколько дней, а потом сказал, глядя куда-то мимо Эстер:

– Я устал, Эстер. Устал от этой вечной борьбы. С начальством, с природой, со случайностью. Устал хоронить людей. Хочу, чтобы дети выросли в месте, где жизнь – не подвиг, а просто жизнь.

Она поняла. Он говорил не о переезде в другой город. Он говорил о бегстве. Снова. Но на этот раз – не от врага, а от самой судьбы, от этой вечной, сибирской битвы за выживание.

Идея репатриации, до этого казавшаяся фантастической, вдруг обрела плоть и кровь. Это был не просто переезд. Это означало плыть против течения всей советской жизни. Это означало поставить на карту все: работу, квартиру, рискнуть

своей спокойной – относительно— жизнью. Это означало стать «отказниками», изгоями, мишенью для компетентных органов...

Но это также означало шанс. Шанс для Артёма на нормальное лечение – как ни крути, но в Израиле медицина была лучше. В том числе и благодаря уехавшим туда бывшим советским врачам еврейской национальности – которые могли там использовать новейшую медицинскую технику, недоступную им в СССР. Шанс для Элины – учиться, не оглядываясь на пятую графу. Шанс для них самих – дышать полной грудью, не оглядываясь на тени в переулках.

Решение созревало медленно и мучительно. Они спорили ночами, плакали, боялись. Но письмо из Израиля лежало на столе, как маяк. А память о грузинских братьях, об аварии на буровой, о вечном чувстве временщиков на этой суровой земле – толкала в спину.

Однажды вечером, когда дети спали, Моисей сказал:

– Я думаю, пора. Подадим документы.

– А если откажут? – спросила Эстер. Она почему-то оглянулась на дверь – словно за ней кто-то стоял. – Далекое не всем ведь одобряют. – Она глубоко вздохнула:

– А может быть и хуже – откажут, и будут мурыжить несколько лет. Или вообще до бесконечности. Ты же помнишь Пепперштейнов?

Пепперштейны, Михаил и Рая, то есть на самом деле Мендель и Рахиль Пепперштейны, были их знакомыми из Санкт-

Петербурга. С ними они случайно встретились на южном курорте, в районе Гудаут. Встретились и подружились. А потом Пепперштейны надумали выехать в Израиль. Тоже получив приглашение от родственников. И попали в ад – им отказали, и никуда не выпускали. При этом они оба лишились работы, друзей, привычного уклада жизни. И каких-либо перспектив. Здесь, в СССР, у Пепперштейнов фактически отняли все -но при этом никуда не выпускали. Это была страшная реальность, которая могла коснуться и их.

Но Моисей, на удивление, был непреклонен:

– Будем подавать снова. Как наши предки стучались в закрытые двери. У нас есть время. И у нас есть мы. – Его лицо осветила скупая улыбка: – Будем поддерживать друг друга. Сколько сможем...

Они подали документы на выезд в Израиль осенью 1980 года. И попали в молчаливый, холодный ад ожидания. Отношение на работе сразу изменилось. На Моисея перестали смотреть как на ценного специалиста – на него смотрели как на предателя. На Эстер в школе начались новые, теперь уже идеологические придирки: «Как вы можете учить советских детей, сами собираясь бросить Родину? Давление было тоньше, но от того не менее ощутимым. Их перестали приглашать в гости, соседи отворачивались. Они стали невидимыми изгоями в городе, который сами же помогали строить.

Но они держались. Потому что теперь у них была цель.

Мечта. Они плыли сквозь враждебное море к далёкому, мифическому берегу. И это плавание объединяло их сильнее, чем когда-либо. Они были больше чем семьёй. Они были экипажем маленького, утлого судёнышка, брошенного в океан истории. И они были готовы плыть хоть до самого края света.

Глава 6. Пасмурный путь исхода

Ожидание длилось два года. Две тысячи дней мелких унижений, тревожных надежд и ледяного молчания из окошка «Овира» – отдела виз и регистраций, где их документы провалились в чёрную дыру бюрократии. Эти годы были похожи на жизнь в аквариуме: они двигались, дышали, но мир вокруг стал вязким, чужим, давящим. На Моисея на работе вылили ушат идеологической грязи на партсобрании: «Эренбург, воспитанный советской властью, поддался сионистской пропаганде, предаёт страну, которая дала ему образование и хлеб». Его сняли с должности старшего инженера, перевели в простые механики. Зарплата упала, но страшнее было другое – презрительное, брезгливое отчуждение бывших коллег. Человек, спасавший жизни, стал прокажённным.

Эстер держалась в школе дольше. Её ценили как учителя, но директор, вызывая её в кабинет, говорил с болью: «Эстер Соломоновна, ваши уроки – лучшие в городе. Но вы же понимаете... атмосфера. Родители жалуются. Как вы можете воспитывать патриотов, если сами...» Она не спорила. Мол-

ча кивала и уходила, чувствуя, как стены смыкаются. В конце концов, её «попросили» уволиться «по собственному желанию». Она ушла, унося в портфеле последнюю классную работу, последний школьный журнал и потрёпанный томик Ахматовой.

Дети тоже несли свой крест. Артёму, который уже был студент техникума, на общих собраниях шипели в спину: «изменник Родины». Элину, тихую и мечтательную, травили одноклассницы, дочери партработников. «Твоя мама – сионистка! Ну и уезжайте к своим жидам! Скатертью дорога!» Дочь приходила домой, забивалась в угол и плакала беззвучно, а Эстер, стиснув зубы до боли, гладила её по голове и шептала: «Потерпи, солнышко. Главное, мы свободны. Сквозь всё прорвёмся.

Дом их, некогда полный друзей и тепла, опустел. Занавески на окнах были постоянно задёрнуты, будто прятались не только от чужих взглядов, но и от самой советской действительности. Они жили в режиме осады. Денег катастрофически не хватало. Эстер устроилась тайком переписчицей в архив – сидела в подвале, разбирала ветхие бумаги за гроши. Моисей, после смены, брал дополнительные «халтуры» – чинил соседям машины, сантехнику. Руки его, инженерные, точные руки, покрылись ссадинами и машинным маслом.

Но в этой кромешной тьме горела их внутренняя свеча – непоколебимая решимость. Они стали изучать иврит. По ночам, при тусклом свете настольной лампы, они бормота-

ли странные гортанные звуки: «Шалом. Тода. Эфшар лехазмин? Это был их тайный язык, их пропуск в будущее. Артём, с его механическим складом ума, схватывал быстрее всех. Элина выводила незнакомые буквы в тетрадке, и они казались ей волшебными рунами.

Раз в месяц они ходили на «птичий рынок» – так называли тайные встречи «отказников» в условленном месте, обычно у кого-то дома. Там, в наглухо зашторенных комнатах, пахнущих дешёвым чаем и надеждой, они находили родственные души. Учёные, врачи, музыканты – все, кого система вышвырнула на обочину за желание быть собой. Там делились слухами (уехала семья такого-то! получили вызов!), передавали из рук в руки самиздатовские журналы, пели тихим хором песни на иврите. Это были не собрания – это были сеансы коллективной психотерапии, подпитка для измученных душ. Здесь они не были изгоями. Здесь они были пионерами, первопроходцами, плывущими к Земле Обетованной сквозь ледяные торосы запретов.

Перелом наступил весной 1985-го, с приходом к власти Горбачёва и шепотом о «перестройке». Лёд тронулся. В «Овире» на их бесконечные запросы перестали отвечать откровенным хамством. Появилась какая-то нервозная суета. И в один невероятный день, когда уже казалось, что этот кошмар будет длиться вечно, им вручили зелёную бумажку

– разрешение на выезд.

Первой реакцией был не восторг, а оцепенение. Потом – паника. Выезд был разрешён, но как вырваться? Нужны были деньги на билеты, на первое обустройство. Всё, что у них было, давно проедено. Им предстояло пройти через унижительную процедуру «выкупа» советского гражданства – так называемый налог за образование. Сумма была астрономической.

И тут проявилась та самая, кашгарская смекалка Моисея и сеть связей, которую они сохранили, несмотря на всё. Через тех же «отказников» они вышли на полулегальные каналы продажи вещей. Распродали всё, что представляло хоть какую-то ценность: патефон, ковёр, даже обручальные кольца Эстер (она сняла их без сожаления – их союз был крепче золота). Бывшие коллеги Моисея, те, кто не побоялся, тайком дали в долг. Соседка-старушка Гися Лазаревна, у которой Эстер иногда покупала молоко, принесла завёрнутые в тряпицу сбережения – всю свою пенсию: «Возьмите, детки. Вы прорвались. Я уже никуда не поеду, а вам надо.

Сборы были похожи на эвакуацию. В два огромных, потрёпанных чемодана уместилась вся их прежняя жизнь: фотографии, несколько книг, икона (нерелигиозные, но на всякий случай), лекарства для Артёма, плёнки Элины. Всё остальное – мебель, посуда, одежда – оставалось. Они выходили из квартиры, которая была их крепостью и тюрьмой, и не оглядывались.

Дорога на поезде до Москвы была похожа на путь в никуда. Они ехали через ту самую страну, которую покидали – бескрайнюю, непонятную, уже почти чужую. За окном мелькали леса, поля, станции. Артём смотрел задумчиво. Элина прижалась к окну, как будто пыталась запомнить каждую берёзу. Эстер и Моисей сидели, держась за руки. Страх сменился странной пустотой и лёгкостью. Они были как семена, подхваченные ветром.

В Москве, в Центральном доме литераторов, где размещали эмигрантов перед вылетом, царил атмосфера нервного ожидания. Сотни людей, таких же, как они, с потрёпанными чемоданами и огромными глазами. Здесь пахло надеждой, страхом, дешёвой колбасой и пылью. Они заполняли бесконечные анкеты, проходили медкомиссию. Их дети, Артём и Элина, вдруг повзрослели за несколько дней. Они помогали, переводили, поддерживали других, более растерянных.

И наконец – аэропорт Шереметьево. Прощание с СССР было кратким и безэмоциональным: пограничник шлёпал печати в паспортах, не глядя в глаза. Они шли по длинному, холодному коридору на взлётную полосу. И тут Эстер вдруг остановилась, обернулась. Последний раз. На серое, низкое небо Подмосковья, на бетонные стены терминала. Не было слёз. Было чувство, будто огромная, невидимая цепь, тянувшаяся от Кашгарки через Иваново и Сургут, наконец лопнула.

ла у неё в груди.

Они поднялись по трапу в самолёт авиакомпании «Эль Аль». Стюардесса, улыбающаяся, смуглая, сказала: «Брухим ха-баим ле-Эрец Исраэль» – Добро пожаловать в Землю Израиля. И когда самолёт оторвался от земли, и стрекот шасси сменился ровным гулом двигателей, по салону прокатился вздох – глубокий, общий, как будто все задержали дыхание на двадцать лет и наконец выдохнули.

Моисей посмотрел в иллюминатор. Внизу раскинулась Москва, уменьшающаяся до игрушечной карты, а потом её скрыли облака. Он взял руку Эстер. Их пальцы сплелись – натруженные, с потёртой кожей, неразлучные.

– Ну что, поплыли? – тихо спросил он.

– Поплыли, Мотик, – ответила она, и впервые за долгие годы в её глазах, помимо усталости, зажглась чистая, ничем не омрачённая радость. – Теперь – по-настоящему.

Самолёт взял курс на юг, в солнечное небо, унося их прочь от снегов, страхов и теней прошлого. Впереди было Средиземное море, белый камень Иерусалима, жаркое солнце и новая, непредсказуемая жизнь. Они плыли. Сквозь облака, сквозь границы, сквозь самую толщу времени. И, наконец, домой.

Часть 2. Израиль: сила сдвинутых валунов

Глава 7. Земля обетованная, или обетованные трудности

Самолёт приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона под ослепительным, почти белым солнцем. Воздух, даже в тени терминала, был густым, горячим, наполненным запахами моря, цитрусов и выхлопных газов. Для семьи из Сургута это было шоком. Они вышли на палящий асфальт, и первый крик чайки над взлётной полосой прозвучал для них как трубный глас свободы.

Их встретили представители «Сохнута» с табличкой на ломаном русском: «Добро пожаловать, новые репатрианты!» – и на автобусе повезли в «абсорбционный центр» – бетонное общежитие на окраине Ашдода. Комната на пятерых, кондиционер гудит, но не спасает, за окном – незнакомый, слишком яркий пейзаж с кактусами и белыми домами. Первые дни прошли в эйфории и суете: получение теудат-зеутов, удостоверений личности, служивших в Израиле внутренними паспортами, первые шекели, первые походы в супермаркет, где незнакомые продукты смотрели на них как инопланетяне. Артём с восторгом носился по пляжу. Элина, завожённая, фотографировала всё подряд: от моря до уличных

котов. Моисей и Эстер держались за руки, как подростки, ощущая под ногами твёрдую почву земли, которую можно было назвать своей без оглядки.

Но эйфория быстро испарилась, как вода на раскалённом асфальте. Пришла реальность.

Прежде всего, язык – без которого ты в стране нем как рыба. И безгласен. Иврит, который они учили по ночам в Сургуте, в живом общении оказался лавиной, сметающей все их попытки понять соотечественников. В магазине, в банке, на улице – вокруг звучала какофония быстрой, гортанной речи, в которой они улавливали знакомые слова, но не понимали смысла. Они чувствовали себя глухонемыми. Эстер, учительница с безупречным русским, плакала от бессилия, когда не могла объяснить врачу симптомы Артёма. Моисей, инженер, привыкший к точности, терялся перед простым заданием: купить гайку нужного размера. Унижение было глубже, чем в СССР – там их не понимали из-за пятой графы, здесь – из-за неумения говорить. Они были чужими среди своих.

Второй «засадой» была работа. Точнее, ее полное отсутствие. Дипломы советского образца здесь не котировались. Моисей, с его опытом в нефтянке, оказался не нужен. Стране нужны были программисты, а не инженеры-нефтяники. Ему предложили курсы переквалификации, но в 45 лет начинать с нуля... Он устроился разнорабочим на стройку. Снова, как

в молодости, только под палящим солнцем, а не в сибирском морозе. Руки снова покрылись мозолями, спина ныла по ночам. Эстер, с её педагогическим стажем, после полугода ульпана (интенсивные курсы иврита) смогла устроиться только помощницей воспитательницы в детский сад. Её называли «метапелет», и дети, весёлые, шумные, не всегда понимали её акцент.

Наконец, человеку надо где-то жить – иначе он превращается в бродячую собаку. Они думали, что им страшно повезло, когда они сумели найти квартиру и взять ее в ипотеку. Все-таки в Израиле у них появился свой угол, крыша над головой.

Но через несколько месяцев выяснилось, что ипотека на 30 лет – не спасение, а, скорее, ловушка. Центральный банк Израиля поднял учетную ставку – всего на 1 процент – и цена ипотеки тут же выросла. Причем гораздо ощутимее, чем на 1 процент! Обманом оказалась и сама процентная ставка: при заключении ипотечного договора их убедили, что процент за 30 практически не будет меняться. А оказалось, что общая сумма ипотеки разбита сразу на 3 части, и по двум из них – процент переменный, и он – растет!

При этом платить надо было каждый месяц, а работа приносила копейки. Деньги постепенно таяли. Надежда на помощь родственницы, которая и позвала их в Израиль, оказалась призрачной: та сама еле сводила концы с концами. Не будь она пенсионеркой и не имей различные льготы и по-

мощь социального отдела мэрии, вообще, скорее всего, пошла бы улицу побираться...

Так они оказались в финансовой ловушке. Ипотека, счета за воду и электричество (кондиционер стал необходимостью, а не роскошью), дорогая еда... Сибирь с её дефицитом, но и с гораздо более дешёвыми базовыми продуктами, вдруг стала казаться раем.

Но самый страшный удар ждал их в больнице «Сураски» в Тель-Авиве. Артёму, наконец, удалось попасть к хорошему неврологу. После обследования врач, молодой и усталый, развёл руками:

– У вашего сына – последствия тяжёлой черепно-мозговой травмы, осложнённые, возможно, неправильным лечением в прошлом. Нужна сложная операция. В Израиле её делают. Но... она не покрывается вашей базовой медицинской страховкой «корзиной абсорбции». Это очень дорого. Очень.

Цифра, которую он назвал, была астрономической. Полмиллиона шекелей. Столько они не видели за всю жизнь. И не могли увидеть в будущем. Даже если продать почку – не хватит.

– Без операции, – мягко добавил врач, – эпилептические приступы будут учащаться. Возможна ранняя инвалидность.

Эстер вышла из кабинета и села на пол в коридоре. Не потому что не было сил идти, а потому что мир перевернулся. Они приехали сюда, чтобы спасти сына. И оказалось, что

спасти его они не могут. Деньги, которых нет, встали между её ребёнком и здоровьем, как бетонная стена. Моисей, узнав, просто сел на стул у кровати Артёма и опустил голову на руки. Казалось, все их жертвы, вся их борьба, весь этот невероятный путь – были напрасны. Они приплыли к обещанному берегу и обнаружили, что он – голый, бесплодный утёс, а за ним – пропасть.

Именно в этот момент, когда, казалось, они достигли дна отчаяния, и произошёл неожиданный поворот.

Элина, их тихая дочь-подросток, оказалась крепче всех. Пока родители погружались в пучину беспомощности, она действовала. Её увлечение фотографией в Израиле переросло в нечто большее. Она снимала всё: и радость новых репатриантов, и их разочарование, и суровые лица строителей, и улыбки детей в садике у мамы. И выкладывала это в только появившийся тогда фотосервис. Её снимки были не просто картинками – они были историей. Историей трудной, но настоящей алии.

Одна из её фотографий – Моисей после смены на стройке, сидящий на корточках с бутылкой воды, его лицо, покрытое пылью и усталостью, но глаза, смотрящие вдаль с неймой, упрямой надеждой – попала в поле зрения редактора одной из русскоязычных газет. Журналистка, сама бывшая «отказница», приехала к ним домой. И написала статью. Не жалост-

ливую, а сильную. О людях, которые прошли через ад, чтобы добраться до Земли Обетованной, и теперь столкнулись с новыми, неожиданными испытаниями. Статья называлась «Инженер Эренбург ищет гайку для своей мечты».

Статья попала в сеть. Её перепечатали. Ею заинтересовались. И в их дверь постучался человек. Не из «Сохнута». Не чиновник.

Это был Авигдор Фрайерман. Не политик (тогда ещё), а бизнесмен, выходец из провинциального молдавского захолустья, приехавший в Израиль на десять лет раньше и сколотивший состояние на торговле стройматериалами. Человек жёсткий, практичный, вообще без сантиментов. Точно вырезанный из старой, жесткой деревянной доски грубым инструментом. Он вошёл в их бедную квартирку, окинул взглядом обстановку и сказал напрямую:

– Читал про вас. Ваша история – это история всех нас. Но у вас есть проблема, которую можно решить. Вы, – он ткнул пальцем в Моисея, – инженер. Настоящий. У меня есть склад металлопроката в Ашдоде. Хаос, бардак, учёт ведут на салфетках. Я теряю деньги. Ты наведи там порядок. Сделаешь систему учёта, складскую логистику. Зарплата – в три раза больше, чем на стройке. И медицинская страховка – полная, «шарит».

Моисей смотрел на него, не веря своим ушам.

– А я... я не знаю местных стандартов, программ... И пишу еле-еле.

– Научишься. Дам тебе на это два месяца. Справишься – остаёшься. Нет – уходишь. По рукам? Ты же, вроде, не трус?

Это была не благотворительность. Это был расчёт. Авигдор видел в Моисее не жертву, а ресурс. И это было лучше любой жалости.

Авигдор обернулся к Эстер.

– А вы... вы учитель. Моя жена, Рина, открывает частный детский центр для детей репатриантов. Нужен человек, который знает, что такое тоска по дому, и может научить детей не только ивриту, но и не сломаться. Работа – на полставки, пока не подтянете язык. Но страховка – тоже полная, распространяется на семью.

Он говорил быстро, по-деловому. И в его словах не было сочувствия. Было уважение. Уважение к их борьбе.

Эстер и Моисей переглянулись. Это не было чудом. Это был шанс. Тонкая, зыбкая доска, перекинута через пропасть. Но доска.

– А операция для сына? – тихо спросила Эстер.

– Со страховкой «шарит» она покрывается на 80 процентов, – отчеканил Авигдор. – Остальные 20 процентов тоже можно оплачивать... я дам вам для этого беспроцентную ссуду. Вы отработаете. – Он скупно улыбнулся, показав желтоватые зубы: – Учтите, хаверим: я – не благотворитель. Я – инвестор. Инвестирую в вас свои деньги. Не подведите!

Когда он ушёл, в квартире повисла тишина. Потом Артём, который всё слышал из своей комнаты, тихо сказал:

– Я тоже найду работу. Помогу. Мы справимся.

Элина обняла маму:

– Видишь, мам? Мы не одни.

Моисей подошёл к окну. За ним был Ашдод, шумный, чужой, но уже не враждебный город. Он смотрел на море – то самое Средиземное, на иврите «Ям ха-Тихон», то есть «Море Середины Земли, о котором столько читал в книгах. Оно было тёплым, синим и бесконечным. Таким же бесконечным, как их путь. Они снова стояли на краю. Но на этот раз у них под ногами была не зыбкая почва страха, а твёрдая решимость. Они прошли через слишком многое, чтобы сдаться сейчас. У них был шанс. И они знали, как за него бороться. Вместе.

Следующие месяцы были временем невероятного напряжения, но уже другого – созидательного. Моисей пропадал на складе, разбираясь в хаосе железа, деталей, инструментов и непонятных накладных. Он не спал ночами, осваивая компьютерную программу, придумывал систему маркировки. Его инженерный ум, так долго подавляемый, наконец заработал на полную мощность. Как только он вник в *систему*, он стал понимать, как она работает. Дальше было легче – следовало оптимизировать ее. Как оптимизирует хозяйка свое кухонное пространство и стол, готовясь соорудить праздничный обед на десяток персон.

Он стал находить ошибки, предотвращать утечки, и в результате начал экономить деньги Авигдора. Пока – немного, какие-то сотни шекелей. Но в любом случае, на складе и его филиалах теперь царил образцовый порядок. «Как в танковых войсках», – хмуро шутил Моисей, повторяя выражение, которое слышал в юности. Главное, Авигдор был доволен. Всегда скупой на похвалы, он как-то раз с силой хлопнул его по плечу: «Я не ошибся в тебе, Эренбург». Это был знак признания, который дорогого стоил.

Эстер, работая в детском центре для детей репатриантов – «Йеладей олим хадашим» – нашла своё призвание. Она не просто учила детей языку. Она подумала и создала «Литературную гостиную», где читала с ними сказки на русском. А потом они вместе придумывали свои истории на иврите. Она помогала мамам, таким же потерянным, как она сама, быстрее адаптироваться. Её тихая сила, её умение слушать и поддерживать стали легендой в маленьком сообществе новых репатриантов Ашдода.

Артём перенёс операцию. Она прошла успешно – правда, в его состоянии ничего не изменилось. Родители каждый день с тихой тревогой смотрели на него, не зная, что и думать, они же сделали все, что было в их силах – и даже больше. Их постепенно охватывало отчаяние.

Но потом, словно по мановению волшебной палочки, все вдруг переменилось. Приступы Артема прекратились. Операция все-таки дала эффект. Улучшилась координация дви-

жений, исчезла скованность в мышцах, его мимика стала нормальной – он улыбался так, как совсем не мог этого делать раньше.

А когда он совсем окреп, то пошёл на курсы IT. Это была та сфера, где его логическое мышление и упорство оказались востребованными.

А Элина... её фотография Моисея на стройке выиграла конкурс молодых фотографов. Её пригласили учиться в академию искусств «Бецалель» в Иерусалиме.

Прошло два года. Они уже не просто выживали. Они жили. Ипотека ещё не выплачена, работа всё ещё трудна, иврит ещё не идеален. Но однажды вечером, сидя на балконе своей маленькой квартиры и глядя на закат над Средиземным морем, Эстер сказала:

– Знаешь, Мотик, я сегодня поняла одну вещь.

– Какую?

– Что мы всё время плыли. Из Кашгарки. Из Иваново. Из Сургута. И вот – доплыли. Не до рая. А до места, где можно, наконец, бросить якорь. И строить свой дом. Не из страха. А из любви.

Моисей взял её руку, ту самую, которая когда-то держала пистолет, а теперь уверенно вела уроки для детей. Он посмотрел на море, на этот бескрайний, гостеприимный горизонт.

– Да, Эстер. Доплыли. – Он помолчал. – И знаешь, что са-

мое главное? Что мы плыли вместе. И, кажется, это навсегда.

И они сидели так, держась за руки, два седых, уставших, но непобеждённых странника у своего моря. Их путь через континенты и эпохи подходил к концу. И начиналась новая история. История дома.

Глава 8. Ашдод. Десять лет спустя. И произросли она, как дерево у воды.

Балкон их квартиры теперь утопает в зелени. На месте герани, когда-то украшавшей их сургутское окно, разросся целый сад из бугенвиллий, олеандра и жасмина, который Эстер сама высадила. Моисей вышел на пенсию, но не сидит без дела – консультирует мелкие фирмы по логистике, а в свободное время мастерит скворечники для птиц и чинит всё подряд в доме у дочери.

Птицы тут, правда, необычные – хохлатые удоны, считающиеся символами Израиля, да заморские зеленые попугаи, когда-то случайно попавшие в Израиль и затем расплодившиеся и ставшие полноправными хозяевами здешних жарких роц и лужаек, где все так напоминает им прежнюю родину – далекую Бразилию.

Элина стала известным фотографом-документалистом. Её выставка «Плавание домой», посвящённая истории алии 1980-х, с успехом прошла в Иерусалиме и Нью-Йорке. На главной фотографии – профили её родителей, смотрящих в море с того самого балкона, а на заднем плане, едва замет-

ный, висит на стене старый значок «ГТО», привезённый из Сургута. Символ стойкости.

Артём – успешный IT-специалист в крупной хайфской компании. Женат на сабре, израильтянке, родившейся здесь, в Эрец Израэль, и работающей, как и ее теща Эстер, учительницей. У них двое детей – мальчик и девочка. Мальчика назвали Соломон – в честь прадеда. Сокращенно – Шломка. Девочку – Элина. Их смех часто наполняет квартиру.

Раз в неделю вся семья собирается на субботний шабатный ужин. Эстер печет халу по рецепту, который нашла в интернете и адаптировала на свой лад. Вкус – странный, не совсем традиционный, но это *их* семейная хала, и она – самая вкусная на свете. Моисей произносит кидуш, его иврит звучит всё ещё с сильным русским акцентом, хотя и безупречен грамматически и с точки зрения словарного запаса, но дети и внуки все равно слушают его с благоговением.

Иногда, когда гости расходятся и на море спускаются сумерки, Эстер и Моисей выходят на балкон. Она кладёт голову ему на плечо.

«Снится ли тебе ещё Кашгарка? – спрашивает она.

«Нет, – отвечает он, глядя на огни кораблей вдали. – Снится, что я в лодке. А ты у руля. И мы плывём. Но уже не спеша. Просто плывём. И мне не страшно.

«Потому что мы вместе, – говорит она. – И потому что мы – дома.

Они замолкают. Снизу доносится шум города, крики чаек, смех детей во дворе. Это – музыка их жизни. Не идеальная, не легкая, но *их*. Они проплыли сквозь бури и штили, через льды и палящее солнце. И причалили. Не к мифическому берегу, а к берегу собственной, выстраданной судьбы.

«И дерево, которое они посадили вместе, пустило корни глубоко в эту землю, а ветви его поднялись к солнцу, давая тень и плоды новым поколениям», – как сказал великий мудрец древности Рабби Моше Галанти.

Именно так и случилось.

Часть 3. Внуки Моисея и Эстер Эренбург – зигзаги судьбы

Глава 9. От ран и от мук никогда не зарекайся.

Соломону Эренбургу, внуку Моисея и Эстер, приехавших в Израиль из далекого сибирского Сургута, было девятнадцать лет. Он носил имя прадеда, которого никогда не видел, и в его жилах текла кровь кашгарской стойкости, сургутской выдержки и израильской пряности. Высокий, широкоплечий, с тёмными глазами матери-сабры и упрямым подбородком отца Артёма, он был идеальным продуктом израильского плавильного котла. И как всякий идеальный продукт, он был полон внутренних противоречий.

Завтра был день его призыва в ЦАХАЛ – Армию обороны Израиля. Не просто призыва – он, отличник учёбы и физической подготовки, был отобран в элитное боевое подразделение «Дувдеван». Гордость семьи была безмерна. Артём, его отец, хлопал его по плечу, с трудом скрывая слёзы. Бабушка Эстер пекла его любимый яблочный пирог. Дедушка Моисей молча смотрел на него своим спокойным, всепонимающим взглядом – тем самым, что видел и драки в Кашгарке, и сургутские метели.

* * *

Служба Соломона в «Дувдеване» стала для семьи Эренбург источником гордости и постоянной, тихой тревоги. Эстер молилась каждый вечер, хотя и не была религиозна. Моисей, прошедший через свои войны, теперь молча следил за новостями. Армия изменилась с тех пор, как служил Артём. Теперь это были не просто учения, а постоянные операции в Иудее и Самарии, вспышки насилия в Газе.

Кризис наступил внезапно и страшно. Со стороны Ливана на север Израиля полетели начиненные взрывчаткой беспилотники – оружие группировки Хезболла. Беспилотники летели веером, поражая один за другим города севера – Кирьят-Шмона, Маалот-Таршиха, Нагария, Цфат, Тверия. Заранее расставленные средства противовоздушной обороны быстро истощились – никто не рассчитывал на такое безумное количество беспилотников, которые к тому же ловко обходили их. Ракеты закончились, а «Железный купол» все чаще промахивался и не успевал сбивать их. Над городами выла сирена, машины «Скорой помощи» в ужасе носились по земле, не зная, кому помогать.

Армейский джип «Хаммер», на котором группа Соломона Эренбурга мчалась на помощь пострадавшим и раненым, остановился у одинокого светофора на шоссе, ведущем в Маалот-Таршиху. На шоссе было совсем мало машин, фонари освещения были обесточены, но светофор, к удивлению,

работал. Водитель зло махнул рукой:

– Все, к черту правила! Какие правила дорожного движения, когда бомбят со *всех* сторон?!

Он уже тронулся с места, набирая скорость, и в этот момент в джип врезался беспилотник. Легко бронированный «Хаммер» не предоставлял надежной защиты. Соломона ранило и сильно контузило, его товарища, уроженца Иерусалима, убило на месте. Тяжело ранены были еще двое бойцов.

* * *

Остановив кровь и наложив бинты, военные медики «Дувдевана» срочно Соломона доставили в госпиталь «Хадасса» в Иерусалиме. Они жутко спешили, понимая, что от времени зависит все.

В госпитале у сопровождающих отлегло от сердца. Первоначальное обследование показало, что ничего хорошего, конечно, нет – но и критического тоже. Физические раны были тяжелы, хотя и не смертельны: многочисленные осколки в плече, сильное сотрясение мозга, глубокие ожоги ног и рук, сломанный нос.

– Обычный набор, – пробормотал себе под нос хирург Рафаэль Мешулам. – В 90 процентах случаев – одно и то же. И когда же это кончится? – Он возвел глаза к потолку. – Барух Ха Шем, будь благословенно Твое Имя, Господи, ведь я же когда-то мечтал стать пластическим хирургом. Сидел бы сейчас в своей уютной клинике где-нибудь во Флориде,

штопал бы женские зады, вставлял сиськи, колдовал над ногами, а не над рваными раками. И горя бы себе не знал. За что мне это, о Боже?

Впрочем, Рафаэль Мешулам прекрасно знал, что задавать эти вопросы совершенно бессмысленно. В этой войне участвовал не только он, хирург “Хадассы”, но и его младший брат Арон, служивший в летной эскадрилье под Хайфой и бороздивший небеса на своем вертолете «Sikorsky CH-53 Sea Stallion». И ребята-десантники из «Сайерет Маткаль», специализирующиеся на специальном патрулировании и борьбе с терроризмом, которых брат время от времени катал на своем “морском жеребце” с металлическими крыльями. Никогда не было известно, куда они полетят в следующий раз – и сколько их живыми вернется обратно. И при этом никто не жаловался, не ныл, не отказывался – а конкурс в «Сайерет Маткаль» всегда был и оставался бешеным, ребята горели желанием сражаться за свою страну, и никто не мог их остановить.

– Давайте тампоны, вату, ножницы, – ворчливо обратился Рафаэль Мешулам к своим ассистентам. – И шевелитесь, черт бы вас побрал – не во Флориде, чай!

Они удивленно покосились на него, но не подали виду. У каждого известного хирурга были свои примочки и приколы, и набор специальных словечек и выражений, которые мало кто из посторонних понимал. Просто подавай тампоны, вату, ножницы и все остальное, что он попросит – и не жужжи.

Вот и все...

Отлично. Вот развитие в стиле Фицджеральда, с его характерной лирической меланхолией, вниманием к внутренним конфликтам и метафорам утраченной невинности.

В больницу пришла вся семья, собравшись вокруг его койки, как испуганные, преданные актеры у финального занавеса. Эстер, сжав его здоровую, беспомощно лежащую руку, плакала беззвучно; слезы стекали по ее щекам непрерывным, блестящим потоком, словно она оплакивала не только брата, но и окончательную утрату какой-то прежней, солнечной уверенности, которая теперь казалась наивной иллюзией. Моисей стоял у изголовья, неподвижный и прямой, и в его темных, глубоко посаженных глазах была не жалость, а суровая, мужская скорбь. Он понимал. Понимал ту скрытую цену, которую платят за выбор, ту внутреннюю валюту, которой рассчитываются за право называть что-то своим – землю, долг, убеждения. Его собственный выбор когда-то привел его к холодным машинам и чертежам Иваново; выбор Соломона привел его сюда, к этой белизне, пахнущей антисептиком и страхом.

Соломон не открывал глаз. Он плыл где-то в глубине себя, в царстве морфия и боли, где время растягивалось, как

резина. Разлом, трещина, много лет зревшая в почве их общей истории, прошла теперь и через него самого, разорвав плоть и кость. С одной стороны – долг, семья, страна, оплаченная кровью его предков, идея, столь же древняя и требовательная, как песок их пустынь. Это была монументальная, тяжелая правда, высеченная из гранита.

Но по другую сторону трещины лежало нечто иное – не абстракция, а чудовищно конкретное: страшная, мгновенная гибель его друзей. Яркие, шумные, живые мальчишки, чье земное существование, со всеми их шутками, мечтами, неловкостью с девчонками, внезапно прекратили какие-то дешевые, убогие изделия из пластика и небольшого количества металла. Он, инженер, с отвращением думал об их начинке: взрывчатка, в которую для «эффективности» добавляли селитру и обыкновенные, грубые гайки. Гайки. Те самые, что скрепляют миры машин. Эти гайки разрывали плоть, вбивались в стены, в землю, в память.

И это было самым ужасающим открытием, холодным, как сталь на изголовье койки: получалось, что жизнь человека, его смех, его любовь, его неуверенное будущее, стоила крайне дешево – если вообще чего-то стоила. Она была сведена к стоимости селитры, пластикового корпуса и горсти железного лома. Это была новая, отвратительная арифметика, в которой он стал невольным вычитаемым. Ранее весь мир для него был полон стоимости – стоимости слов, поступков, чувств. Теперь он с трепетом понимал, что существует иная,

чудовищная бухгалтерия, где все эти категории обнуляются. Это открытие было крайне неприятным, горьким, как вкус крови во рту; оно обесцвечивало прошлое и делало будущее хрупким и ненадежным, как тонкое стекло на ветру. Он лежал с закрытыми глазами, и ему казалось, что он падает не в сон, а в эту новую, холодную реальность, где нежность и долг разбиваются вдребезги о дешевизну гаек и человеческого замысла.

* * *

Выписавшись из госпиталя, Соломон получил длительный отпуск по психологической реабилитации. Три месяца – срок, казавшийся в гулкой тишине больничных палат вечностью, а теперь, на воле, истекший с мучительной быстротой реки, уносящей щепки. Он пытался ухватиться за обрывки обычной жизни, за простые ритуалы – кофе на балконе на рассвете, когда воздух еще прохладен и чист, долгие, бесцельные прогулки, ворчание отца за газетой. Но это была лишь видимость, тонкий, хрупкий лак, под которым трескалась и пузырилась совсем иная реальность. Краски мира стали приглушенными, как в старом, выцветшем фильме, а звуки доносились будто из-за толстого стекла. Боль была не в теле – раны затянулись аккуратными, розовыми шрамами – а где-то глубже, в самой сердцевине самоощущения, разъедающая его изнутри, как тихая кислота.

И вот, через эти три искусственных, выморочных месяца, его призвали снова. Призыв пришел не как приказ, а как неизбежное, мрачное подтверждение его догадок: никакого исцеления не существует, есть лишь передышки. Противостояние с Хезболлой достигло нового, лихорадочного накала, солдат и офицеров остро не хватало. Ирония ситуации была горькой и совершенной. Пока он, Соломон, сжимал в ладонях призрак рукояти автомата во сне, ультраортодоксальные евреи, его единоверцы по крови, но не по судьбе, не желали служить, поскольку это, по их словам, отвлекало их от изучения Торы в тиши ешив. Они не просто отказывались – они саботировали призыв с почти театральным пафосом, устраивая сидячие забастовки прямо на главных автомобильных магистралях, превращая артерии страны в вены паралича. Их праведный гнев, их спокойные, убежденные лица в новостях казались Соломону еще одной формой насилия – более чистого, более абстрактного, но оттого не менее ранящего. Это был раскол внутри самого дома, и он, Соломон, должен был идти и затыкать собой бреши на его внешних стенах, в то время как фундамент трещал изнутри.

И снова он оказался на границе с Ливаном. Пейзаж был тем же – выжженные холмы, колючая проволока, мутное, тяжелое небо. Но теперь он видел его иначе, с пронзительной, почти болезненной ясностью обреченного. И самое призрачное, самое сюрреалистичное зрелище открывалось прямо перед ним: на той стороне границы, в идеальной, по-

что насмешливой безопасности, стояли миротворческие силы ООН, размещенные там уже несколько десятков лет. Их блиндажи и наблюдательные пункты были прекрасно оборудованы, аккуратны, как игрушки из дорогого набора. Оттуда иногда доносился смех или звук музыки – обычные звуки мирной жизни, такие же далекие и недоступные, как звезды. Они не вмешивались в происходящее. Они наблюдали. Их присутствие, этот символ надежды и порядка, превратилось в совершенный абсурд, в дорогую, бесполезную декорацию к бесконечной трагедии. Они не поддерживали мир. Они лишь констатировали его отсутствие, стоя по ту сторону колючей проволоки, как вечные, безучастные зрители на самом скучном и кровавом спектакле на земле. И Соломон понял, что сражается не просто с врагом за холмом. Он сражается с самой бессмысленностью, с этим великим, ледяным равнодушием мира, которое было страшнее любого снаряда.

* * *

Группу Соломона направили на усиление наблюдательного пункта, где служили девушки-солдатки – их называли «Тацпитанийот», они ежечасно следили за обстановкой через мониторы и камеры наблюдения. День прошел более-менее спокойно, солдаты следили за ситуацией вокруг, дремали и пялились в экраны смартфонов в минуты отдыха, потом снова заступали на боевую смену, и так по кругу. Ночь также

прошла без сюрпризов – единственным «происшествием» стал пролет ночной совы над головой у рыжего Бенямина из Кфар-Сабы, изрядно удививший и напугавший этого городского жителя, до этого вообще ни разу не выбиравшегося в лес и или в поле и не видевшего хищных птиц.

А рано утром вдруг разверзлись врата ада. Их стали неожиданно массированно обстреливать из РПГ. Потом прилетели один за другим три дрона. Потом опять начались обстрелы из противотанковых ракет.

Соломон приник к рации, связался со штабом. Побелевшими губами выдавил:

– Пришлите авиацию. Мы не справляемся. Слишком густо по нам стреляют. Мы как один Давид против целой армии филистимлян.

Слава Богу, в штабе сидели не дураки – за столько месяцев войны многому научились, решения принимали быстро и без лишней волокиты. Связались с боевыми летчиками, и быстро подняли в воздух авиацию, которая должна была ударить по тем местам, откуда обстреливали израильтян.

Но Соломон не успел увидеть результаты их работы – в этот раз противотанковая ракета прилетела прямо в то место, где находился он сам. Его автомат с раздробленным пластмассовым прикладом отлетел в сторону, его самого взрывной волной распластало на земле. Ноги и руки не слушались, он лежал в луже собственной крови и хрипел, не в силах вымолвить ни слова. А самое страшное – кажется, перестал ви-

деть его правый глаз.

* * *

Опять госпиталь. Опять запах антисептика и тихие голоса врачей. Но на этот раз была и слепота в одном глазу, и постоянный звон в ушах, и руки, которые дрожали даже тогда, когда он лежал неподвижно. Семья приезжала каждый день. Артём говорил мало. Моисей иногда брал его за руку – рука старика была сухой и горячей, как пустынный камень, прогретый солнцем.

– Ты жив, – говорил Моисей, и в этих словах была вся философия Эренбургов, выкованная в кашгарских переулках и сургутских снегах. – Ты жив, Соломон. Остальное – приложится.

Но Соломон молчал. Внутри него росла тишина – густая, непроглядная, как туман над Иорданом. Он видел во сне лица друзей, разорванный металл «Хаммера», светофор, упрямо мигающий в темноте. Слышал голос водителя: «Какие правила дорожного движения, когда бомбят?»

Видел заставу, на которой остались испуганные девушки-тацпитанийот. Им всем было от 18 до 19 лет, совсем еще девчонки, испуганные, с огромными глазами, не знающие, вернутся ли они домой живыми или нет. Наверняка каждая представляла себя на месте тех девушек, которые наблюдали за разграничительным забором с сектором Газа утром 7 октября 2023 года – и которые потом уже не увидели ниче-

го, убитые мясниками из элитного палестинского спецназа «Нухба», рвавшимися вперед, к Сдероту, Ашкелону и Беэр-Шева – чтобы соединиться со своими соратниками в районе Хеврона, и перерезать территорию Израиля пополам, и добить оставшиеся куски страны поодиночке...

Их подразделение охраняло этих девчонок, а теперь от них самих мало чего осталось.

И все это повторялось раз за разом, в разных уголках страны, на всех ее границах. Которые все соприкасались со злейшими врагами Израиля, желавшими стране и ее жителям одного – позорной, мучительной гибели.

И у Израиля уже не было сил и не было людей, чтобы эффективно справляться со всеми этими атаками, которые захлестывали государство, словно бешеное цунами.

* * *

Через месяц его выписали. Не в часть, а домой. Окончательно. Медицинская комиссия вынесла вердикт: не годен к дальнейшей службе. «Посттравматический синдром, частичная потеря зрения, нарушения вестибулярного аппарата». Сухие строчки в документах, которые перечеркнули все его планы.

В первый вечер дома Эстер накрыла стол. Были пироги, борщ, запеченная рыба – всё, что он любил. Но Соломон почти не притрагивался к еде. Он сидел, глядя в окно на огни Иерусалима, и чувствовал себя чужим в собственном до-

ме. Артём пытался говорить о будущем – может, учеба, может, работа в хай-теке... Но Соломон не слышал. Он слышал только вой сирены и грохот взрывов, которых уже не было.

Моисей наблюдал за ним из своего кресла в углу. На третий день он подошел к внуку, положил перед ним старую деревянную шкатулку.

– Открой, – сказал он.

В шкатулке лежали пожелтевшие фотографии: молодой Моисей в сибирской ссылке, Эстер с маленьким Артёмом на руках, прадед Соломон, чьё имя он носил. И ещё – тетрадь в кожаном переплете.

– Это дневник твоего прадеда, – сказал Моисей. – Он тоже прошел через ад. И выжил. Не потому что был сильнее других. А потому что нашел, за что держаться.

Соломон взял тетрадь. Буквы были выведены старательным, немного корявым почерком. «Сегодня опять метель. Но в сердце тепло – получил письмо от Эстер...»

Он читал всю ночь. Читал о том, как прадед, потеряв в войне всю семью, нашел силы начать всё сначала. Как выживал в Сибири, как верил, что где-то далеко есть земля, где его внуки будут жить в безопасности. И как эта вера согревала его в самые холодные ночи.

* * *

Утром Соломон вышел во двор. Было раннее утро, и воздух был прозрачным и свежим. Он поднял лицо к солнцу,

чувствуя его тепло на щеках. И вдруг понял: он не просто выжил. Он должен был выжить. Чтобы помнить. Чтобы передать эту память дальше – как передали ему.

Он вернулся в дом, взял чистый лист бумаги и начал писать. Сначала медленно, с трудом подбирая слова. Потом всё быстрее. Он писал о светофоре в темноте. О девочках-солдатках на наблюдательном пункте. О дедушкиных руках, горячих, как пустынный камень. О прадедовой вере, дошедшей до него через время и пространство.

Это было начало. Первый шаг в новую жизнь – жизнь, в которой будут не только раны войны, но и тихая сила памяти. Сила, которая всегда была в его крови – кашгарская стойкость, сургутская выдержка и израильская пряность, смешавшиеся в единое целое в этом странном, жестоком и прекрасном плавильном котле, имя которому – жизнь.

Соломон писал, почти не отрываясь. Сначала это были обрывочные воспоминания, сны наяву, диалоги с погибшими. Он выкладывал их в блог, который вёл анонимно, под ником «Слепой часовой». Писал о запахе пыли после взрыва, сладковато-медицинском и горьком одновременно. О том, как девушка-«тацпитанит» в наушниках, не отрывая взгляда от монитора, одной рукой наводила камеру на подозрительное движение, а другой сжимала амулет – крошечную фигурку слона, привезённую матерью из Таиланда. О дедушке Мои-

сее, который, глядя на вечерние новости, вдруг говорил на чистом, почти забытом идише: «*Es iz shver tsu zayn a yid*» – «Трудно быть евреем». А потом добавлял по-русски, уже Соломону: «Но быть человеком – ещё труднее. Это ты теперь знаешь».

Блог заметили. Сначала израильские литературные критики, уставшие от пафосных мемуаров генералов, увидели в этих обрывистых, лишённых патетики зарисовках новую, надломленную правду своего поколения. Потом пришло письмо из Италии.

Конверт был из плотной, желтоватой бумаги, с тиснённым гербом. Адрес был выведен изящным, старомодным почерком. Соломон долго вертел его в руках, удивляясь собственному волнению. Внутри лежало письмо на итальянском и, аккуратно подклеенный, перевод на иврит, сделанный, судя по всему, вручную.

«Дорогой господин Эренбург,

Меня зовут Донателла Сабатини. Я пишу Вам из Радикондоли, маленького городка в Тоскане, который сидит на холме, как упрямый старик, и не хочет умирать, хотя смерть давно уже ходит вокруг да около...»

Она писала, что прочла его рассказы в одном миланском литературном журнале. Её поразила не столько война, сколько тишина после неё. Та тишина, что сквозит между строк.

Тишина, в которой слышно, как растёт трава на заброшенных полях. Эту тишину, писала Донателла, она знает очень хорошо.

Она описывала свой город: узкие улочки, где эхо шагов живёт дольше людей. Площадь с фонтаном, в котором давно не течёт вода. Древние оливковые рощи, где деревья, помнящие ещё Медичи, сбрасывают драгоценные плоды на землю, потому что собирать их некому. Молодёжь рвётся в Рим, Милан, Флоренцию. Остаются старики, чей взгляд устремлён не в будущее, а в прошлое, которое с каждым годом становится яснее и реальнее настоящего.

«Я организовала "Общество друзей Радикондоли", – продолжала она. – Наш безумный мэр (он тоже немного поэт) выделил деньги. Мы не можем дать людям работу, но мы можем дать дом. Пустующие каменные дома, которые помнят запах супа и детский смех, мы отдаём на десять лет за один евро в год. Одному условию: ты должен в них жить. Дышать этим воздухом. Попытаться пустить корни в нашу каменистую почву».

И затем шло самое неожиданное:

«Вы спрашиваете в одном из своих текстов: "Что строить, когда всё, что ты умел, – это ломать и защищать?" Я не знаю ответа. Но я вижу, что Вы ищете его в словах. И это много. Наш городок умирает не только потому, что люди уезжают. Он умирает, потому что забыты истории, которые скрепляли эти камни. Мы забыли, как быть стойкими. Не в бою – в буд-

нях. Как встречать рассвет, когда за ночь заморозки побили молодые побеги винограда. Как снова идти в поле, зная, что урожай может не окупить труда.

Приезжайте в Радикондоли. Расскажите нам свою историю. Не лекцию о мужестве – просто историю. О светофоре в темноте. О дедушке, чьи руки помнят Сибирь. О том, как учишься заново видеть мир одним глазом. Ваша правда – не учебник, а живая вода. Может быть, она поможет оживить и наши корни. Мы будем ждать».

Соломон перечитал письмо несколько раз. Потом вышел на балкон. Иерусалимский ветер нёс запахи сосен, кофе и выхлопных газов. Он закрыл глаза, прикрыв ладонью здоровый левый глаз, пытаясь увидеть то, что описывала незнакомая итальянка: тишину, пронизанную светом, каменные дома, ожидающие жильцов. Ему стало страшно. Страшнее, чем под обстрелом. Там были чёткие правила, команды, долг. Здесь же было только приглашение в неизвестность. В жизнь, где не нужно никого защищать, но нужно научиться просто *быть*.

Он вернулся в комнату, взял лист бумаги. Начал писать ответ. Сначала по-ивритски, потом, спотыкаясь, вспоминая школьный английский.

«Дорогая синьора Сабатини...»

Он писал, что не герой, а просто солдат, который выжил. Что его «стойкость» – это часто просто оцепенение и непонимание, что делать дальше. Что его прадед пережил ГУЛАГ, дед – переезд через полмира, отец – войну Судного дня, а он сам – встречу с дроном на пустынной дороге. И что, может быть, самое главное, чему он научился у своей семьи, – это не гнуть спину перед бурей, а различать в ней отдельные звуки: свист ветра, стук града, а потом – первую каплю дождя, обещание того, что это закончится.

«Я не знаю, смогу ли быть полезен, – закончил он. – Но я приеду. Мне нужно увидеть ваши оливы, которые продолжают плодоносить, просто потому что это их природа. Мне кажется, мне есть чему у них поучиться».

Через месяц, получив от армейского психолога бумагу о том, что «состояние пациента стабилизировалось», Соломон купил билет. Эстер, заламывая руки, испекла на дорогу огромный яблочный пирог. Артём молча пожал ему руку, вложив в рукопожатие всё своё беспокойство и гордость. Только Моисей, провожая его до такси, положил свою сухую, горячую руку ему на затылок, как когда-то в детстве.

– Ты едешь не в Италию, – сказал старик, прищулив свои всепонимающие глаза. – Ты едешь продолжать путь. Наш путь всегда был с востока на запад. Из Кашгарки – в Сургут. Из Сургута – в Иерусалим. Теперь – из Иерусалима в этот... Радикондоли. Камни везде камни. И люди везде люди. Глав-

ное – не забывай, чей ты внук. И пиши. Обязательно пиши.

Так началось новое путешествие Соломона Эренбурга. Не на войну, а навстречу тишине. Не с автоматом, а с тетрадью в рюкзаке. И с вопросом, сможет ли кровь с её памятью о войнах и метелях прижиться в тихой, умирающей тосканской земле, чтобы помочь ей – и себе – снова расцвести.

Глава 10. Долгая дорога в Радикондоли

Путь в Радикондоли оказался путешествием не только в пространстве, но и внутрь собственной тишины. Самолет, который перенес его через Средиземное море и аккуратно высадил посреди итальянского «сапога», неспешный провинциальный поезд, а потом еще более медленный автобус, бесконечно петляющий по холмам Тосканы.

Соломон смотрел в окно, и пейзаж, казалось, медленно вращался вокруг своей оси, как виниловая пластинка, играющая одну и ту же умиротворяющую, но тоскливую мелодию. Кипарисы, выстроившиеся в стройные стражи вдоль дорог. Серебристо-зеленые волны оливковых рощ. Крепостные стены городов на вершинах, похожие на короны, забытые на холмах гигантами. И тишина. Не та, взрывная, послеобеденная тишина Израиля, полная напряжения и ожидания. Здесь тишина была мягкой, старой, впитавшей в себя столетия. Она обволакивала, как пух.

На крошечной автобусной остановке внизу, у подножия холма, его ждала Донателла Сабатини.

Он узнал её сразу, хотя они никогда не виделись. Невысокая, крепко сбитая женщина лет шестидесяти, с седыми волосами, собранными в небрежный, но энергичный пучок. Лицо – сеть морщин, прочерченных не столько возрастом, сколько солнцем, ветром и, как показалось Соломону, постоянной заботой. На ней были простые рабочие брюки, потертая рубашка и жилет с множеством карманов. В её облике не было ничего от утонченной итальянской синьоры из его воображения. Она была похожа на... на фермера. Или на капитана корабля, который отказывается покинуть тонущее, но родное судно.

– Соломон Эренбург? – её голос был низким, хрипловатым от сигарет. Она не улыбнулась, но внимательно посмотрела на него тёмными, очень живыми глазами. Взгляд был оценивающим, но не враждебным. Скорее, как у врача, который изучает нового, сложного пациента.

– Benvenuto. Добро пожаловать в Радикондоли. В наше царство оливок и забвения.

Она помогла ему взять рюкзак (он отказывался, но она просто забрала его, как делают матери) и указала на узкую тропу, взбирающуюся вверх по склону.

– Машина сломалась, – сказала она без тени смущения. – Впрочем, в Радикондоли лучше идти пешком. Чтобы проникнуться им. И почувствовать его норы.

Они пошли. Соломон, когда-то привычный к армейскому марш-броску, с непривычки запыхался. Донателла же шла

легко, как горная коза, время от времени оборачиваясь и бросая короткие реплики:

– Эти стены XII века. Построены еще при папе Каликсте III. Папы тогда ведали нашими местами, а непосредственно правили назначенные ими епископы. Кто был деятельным – тот что-то строил, чтобы было где укрываться от нападений немецких рыцарей, которые тогда постоянно нападали на Италию. А ленивые предпочитали отлеживаться в теплой постели и ничего не делать. – Она закашлялась, потом сухо рассмеялась: – Видите дыру в стене? Нет, это сделало не пушечное ядро. Это в 1962 году внук Нинни, донны Ассунты, на мопеде врезался. Вот эта дверь с львиной головой – дом алхимика. Говорят, он пытался получить золото из винного осадка. Получил уксус. Хороший уксус, впрочем.

Она не рассказывала историю – она ею дышала. Соломон молчал, чувствуя, как его собственная, едва затянувшаяся рана начинает пульсировать в этом новом, непривычном контексте.

Городок встретил их пустотой. Не мертвой, а сонной. На площади с сухим фонтаном спала, растянувшись, рыжая кошка. Из приоткрытой двери табачной лавки доносился голос диктора футбольного матча. Старик в подтяжках и шляпе сидел на скамейке и, кажется, просто смотрел на тень, ползущую по камням. Он поймал взгляд Соломона и медленно, как будто скрипя суставами не только тела, но и ду-

ши, кивнул.

Дом, который ему выделили, оказался на самом краю городка, у старой городской стены. Небольшой каменный дом в два этажа, с террасой, с которой открывался вид на долину. Внутри пахло сыростью, лавандой и временем. Мебели было минимум: кровать, стол, стул, пустая книжная полка.

– Вода есть. Свет есть. Интернет – иногда, – сказала Донателла, ставя на стол принесенную с собой бутылку оливкового масла, хлеб и ветчину. – Передохните. Завтра познакомлю вас с комитетом. И с оливками.

Она ушла, оставив его наедине с гулкой тишиной дома. Соломон сел на стул у окна. В ушах, как всегда в моменты покоя, зазвенел тонкий, назойливый звон – следствие контузии. Он закрыл глаза, пытаясь заглушить его. Но вместо этого в памяти всплыли совсем другие звуки: рёв двигателя «Хаммера», свист беспилотника, тихий голос деда Моисея. Он открыл тетрадь, которую взял с собой – дневник прадеда. Прочёл случайно открывшуюся строчку: «*Сегодня копал картошку. Руки болят, спина ноет. Но каждая картофелина в мешке – это ещё один день жизни для моих детей. Это и есть победа*».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.